

1989 № 9 (33)
СЕНТЯБРЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНЬЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИДИЯ БИРЮКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР НОМЕРА

НОРМУНДС НАУМАНИС

ЛИТЕРАТУРА

Айварс Тарвидс. «Нарушитель границы» (1)
Янис Рокпелнис. Стихи (9)
Генрих Сапгир. Опусы (12)
Олег Дарк. «Из записок новорожденного» (14)
Жак Брель. Стихи (18)
Алексей Ивлев. Стихи (22)
Эргали Гер. «Электрическая Лиза» (24)

КУЛЬТУРА

Андрис Рубенис. «Любовь — тема для философского размышления» (32)
Генри Миллер. «Эротика в изобразительном искусстве» (44)
«Дэвид Боуи глазами Дэвида Боуи» (48)

ПУБЛИЦИСТИКА

Даце Балоде, Янис Круминьш. «Биография человека — это и его сексуальная жизнь» (56)
Александр Казаков. «Пролетариат и заповеди» (62)
А. Залкинд. «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата» (63)

ЛИТЕРАТУРА

Олег Золотов. Послание (69)
«Одно стихотворение» (70)
М. Агеев. «Роман с кокаином» (72)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС СМ. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

Сдано в набор 10.07.89. Подписано в печать 16.08.89. ЯТ 00142. Формат 60×90/8. Офсетная бумага № 1, 2. Офсетная печать. 10+0,5 усл. печ. л., 21,5 уч. л. отт., 14,6 уч.-изд. л. Тираж 143 000 [на латышском языке 100 000, на русском языке 43 000]. Номер заказа 1267. Цена 50 коп. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 226081, РИГА, БАЛАСТА ДАМБИС, 3. АБОНЕНТНЫЙ ЯЩИК 35. ТЕЛЕФОНЫ: гл. редактор 224166; зам. гл. редактора 224100; отв. секретарь, техн. редактор 225654; редактор отделов прозы, поэзии, культуры, публицистики 229743; консультант прозы и поэзии 227208; художник 210030. Отпечатано в типографии Издательства ЦК КП Латвии, 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

РОМАН

Перевела АНТА СКОРОВА

Спорить не имело смысла, и Арнольд со всем согласился. И с тем, что житье у них сносное, не нужны им чудеса заморские, свой хлеб есть будем, добытый трудом и потом, мозолистыми руками... Еще Арвидс припомнил, как во время службы на Украине воровали помидоры, вспомнил еще сороковой год, когда в родительском доме поселился русский офицер, он на кухне принялся крутить ручку кофемолки и все допытывался, как по этому телефону дозвониться до штаба... Потом дядя вдруг стал по-собачьи гавкать, и Максис, раскормленный кокер-спаниель жены, сидя на диване, в недоумении встряхивал повислыми ушами. Жена беспомощно опустила руки, пьянчуга совсем окривел, бог его знает, как завтрашним вечером до концерта праздника песни доберется, ведь красиво как — так много латышей, все стоят и поют о царстве света там, наверху... Но Арвидс не слушал, в стаканы лилась водка, остаток уже второй бутылки, и Арнольд чувствовал тяжелую руку на плече. В ноздри били спиртовые пары, а в ушах раздавались шепелявые слова, что нужно держаться вместе, нельзя враждовать, латыши должны вступать в партию, чтобы было побольше честных людей, чтобы народ выжил, тут никакая Америка не поможет, Америка жидам помогает, нам нужны свои руки...

... Руки и шея у мастера были черны от загара, что свидетельствовало о том, что лето он провел на стройках.

— Будет ровно? — обеспокоенно спросил Арнольд, наблюдая, как мастер накладывает плитку на стены ванной комнаты.

— Будет, будет, — тот пробурчал в ответ и сплюнул в раковину.

— И не отстанут?

— Ты мне под руку не суйся, контролер этакий! Я самому Лацису сортир делал.

— Лацису?

— Ему еще памятник наперед Чаксте поставлен!

Мастера он нашел в реставрационной конторе, был там на хорошем счету, из мастеров старой закваски, и руки его стоили пятнадцать рублей за кафельный квадратный метр. Капризный, как все мастера. Петерис, окончив работу, выпивал водки, требуя при этом рюмку толстого стекла с тяжелой ножкой и участия работодателя в распитии бутылки и в разговорах о политике. На закуску хозяин должен был непременно поставить зеленый лук и кильки.

Петерис долго умывался в ванной комнате, пахнущей известкой и раствором. Переодевшись, сложив инструменты в огромный портфель и тщательно пригладив жидковатые волосы, он усаживался на кухне у стола.

— Ну, хозяин! — сказал Петерис, наливая рюмки. — Хорошее дельце сделано...

— Да.

— Прозит!

Нужно было пить до дна. Арнольд кривился от вкуса водки во рту и слушал, как Петерис хрустит луком, запикивает зелень в солонку и снова хрустит. А кильку ел такой, как есть, — гильотинированная рыбешка мигом

ускользала в щель между его железных зубов, и в натруженных пальцах оставался только самый кончик хвоста.

— Ну, на вторую ногу, чтобы не хромать! — Петерис уже разливал.

Чокнулись и выпили.

— Так ты доктор, значит, — Петерис заговорил, жуя лук. — Врач — секач.

— Доктор.

— Трудная работа?

— Не из легких.

— Правильно. Все трудные. Если пахать.

— Да.

— Первые три быстро идут! — мастер опомнился и ухватил бутылку. Арнольд с удовлетворением отметил, что уровень водки в бутылке упал до слова «ВОДКА» на этикетке.

Они чокнулись церемонно, как государственные деятели на банкетах.

— Слушай, доктор, ты бы хотел жить в Америке?

— Я?

— Ну да.

— Нет.

— Смешленный парень... Ты бы там с голоду подох!

— Не все в Америке от голода умирают.

— Не все. Кто пашет, тот и ест. С маслом.

— Я бы тоже работал...

— Ха... Знаем мы вас, писаки, лишь бы рецептик нацарапать... Знаем, знаем... Клистир поставить не сумеете!

Петерис нашарил в кармане скомканную пачку сигарет и, раскрасневшись, продолжил:

— Ты институты всякие прошел, дипломов полон шкаф, партейный небось, так скажи ты мне одну вещь, почему брательник мой, такой же рабочий, да нет же, пенсионер, может мне через «кордон» посылки слать, а я ему только дерьмовую пластиночку «Тут твоя родина, берег песчаный»... Скажи!

— А если твой пенсионер заболел, тогда что?

— Дурак. Ты что, не знаешь, что наша медицина хороша только на случай «синего листка», чтобы похмелье после юбилея залечить... Санитарка без пятерки до утки не дотронется, о вас, докторов, и говорить нечего...

Ну, Петер, это уже чересчур!

— Ку-ку! — мастер рассмеялся, — я в прошлом году старуху похоронил. Два инфаркта. Я эти ваши лазареты изнутри знаю. Во!

— Ясно.

— Давай еще по одной! Чтобы земля пухом моей Аннушке.

Арнольд пил и проклинал Анну, перенесшую два инфаркта, Петериса, сильно любившего покойную жену, и доктора Сушкевича, который поместил больную в коридор клиники и умно говорил, что теперь надо доставать импортные лекарства, в них единственное спасение. Арнольд слушал с умным видом, потому что хотел, чтобы Петерис покрыл кафелем заодно и кухню, которая в тот момент напоминала склад. В углу ящики с плиткой, мешок цемента, шпунтованные доски, тут же еще не налаженная стиральная машина, измазанная известью лестница. В

(Продолжение. Нач. в № 8, 1989)

хаосе ремонта нетронутыми остались только стол и два табурета, на которых они сидели и распивали сивушную водку.

А Петерис все уплетал зеленый лук и закусывал родными балтийскими кильками. Он говорил с полным ртом: — Ты не волнуйся, кухню тебе как конфетку сделаю. Людям нравится чистая работа. Я, например, думаю, войны не будет. Американцы чувят, что русскому ни хрена сделать не могут. Глянь, Гитлер тоже аж до Волги-матушки дошел, и капут! Нет, русскому нужен татарин, чтобы в задницу его, до самых гланд... На нас наверняка какая-нибудь ракета нацелена... Бомба!

— На нас?

— Ты что, только на свет народился? Через нас все войны шли, все, кому власть взять охота, с танками к нам, думаешь, теперь будет по-другому? — Петерис прогнул кильку с яростью, как комиссара. — Я уже старик. Это тебе волноваться надо. Я с девками уже нагулялся... Да, помню, в молодости... Другие времена были. Все на облигации подписывались, Сталина до дыр зачитывали, с китаезами дружили... Ты знаешь, сколько первый «москвич» стоил?.. Девять тысяч старыми деньгами!

— Тот, что по образцу «опеля» делали? — спросил Арнольд, чтобы разговор не превратился в монолог.

— Тот самый! У первых машин еще были оригинальные детали с фирменным знаком. «Opel-kadett». Машинка! Фрицы войну затеяли, плати, что ты сильному сделаешь, контрибуция... У тебя тоже рюмка сухая.

Арнольд спешно разлил и спросил, что Петерис на войне делал, служил ли в армии.

— Меня? В армию? Ни хрена! — воскликнул Петерис, окутывая себя в густой дым дешевого табака. — Как только в сорок третьем пришла та повестка, я к родне в Курземе, потом по лесам укрывался. Там, вдоль Венты и Абавы.

— А что, жандармы не вылавливали?

— А как же, гонялись за нами, как положено... Была одна красавица, хозяйская дочка, она меня припрятала. Сидел, как царек, в хлеву на чердаке, а фрицы посреди двора курземской бражкой упивались... Альвина была красивой девкой, — старик вздохнул и заглотнул кильку, как пеликан, — один брат у Альвины партизанил. «Красная стрела»². Второй с «курилишами», ты знаешь, «лесные коты» были. Под конец фрицы хотели разделаться и с теми, и с другими. Житуха... Одну ночь за пайкой приходил старший братец, другую — младший, тот, кому социализма хотелось. Мамаша Альвины страх как боялась, что эти чокнутые при встрече друг другу пасть разорвут за свою Латвию. Да, какая там политика, если бить некого...

Арнольд разлил оставшуюся водку. Накатила тошнота, в желудке заняло, зрение теряло резкость. Арнольд смотрел на лицо мастера, и ему казалось, что он видит Петериса и весь мир через совершенно не подходящие ему очки. Арнольд быстро намазал на ломоть черного хлеба толстый слой масла и сунул в рот. А Петерис без устали рассказывал, что под конец войны почувствовал, что крышка, или на Готланд надо смываться, или в партизаны идти. Так случилось, что в апреле их с Жанисом перехватил патруль, пришлось удирать и к красным подаваться. А тут капитуляция подоспела, немцы разъезжали по дорогам с белыми тряпками, а он из лесу вышел красным партизаном. Альвина в конце концов его женила на себе, беременная была, грозила, стерва, что пойдет в органы и расскажет, что Петерис никакой не боец, а дезертир паскудный, от призыва в легион под бабьей юбкой прятался...

— Пойдите, ведь вашу жену Анной звали...

— Правильно, Анна-Альвина. Когда-то давали двойные имена, — тут старый плутовски улыбнулся своей стальной улыбкой, — а то, что меня в партизаны засчитали, мне здорово помогло. Я боец, точно, ветеран, имею право отовариваться в лавке для инвалидов вместе с русскими полковниками...

В тот вечер Арнольд узнал, что Жаниса после войны прихлопнули лесные братья, второй брат сгинул в сибирском лагере, а у Альвины крепкий дом где-то в Новой Зеландии. Мастер повертел рюмку в руке и решил еще сообразить, чего уж там на полдороге оставаться, справлялся, который час, магазин закрыть могут, курево тоже надо взять.

Оба долго препирались, пока не договорились настоящую пьянку устроить после окончания ремонта кухни. В чистом доме, с тремя банками, дюжиной пива и хорошей закуской.

— Сделаю по высшему разряду, кухня будет первый сорт, эх, парень, старею, в молодости поллитровку опорокидывал, и хоть бы хны, теперь после четвертинки косяк, — лепетал Петерис, ковыляя через лестничную клетку. Одна рука упиралась в перила, а другую оттягивал огромный портфель с серебряной монограммой.

Окурки, ошметки килек и лука Арнольд кинул в мусорник. Долго драил голландской жидкостью тарелки и рюмки. Подозрительно нюхал вилку — как бы между зубьев не остался тяжелый дух ворвани. Отрыжка не проходила, и Арнольд принял мужественное решение. В ванной комнате взболтал литр теплой воды с содой и поднял коктейль к губам. Арнольд опорожнил желудок и сквозь слезы увидел салатную плитку на стене по ту сторону унитаза. Приятный салатный оттенок...

... салатный оттенок, как у костюма той дамочки. А дама все читает и читает. Увлеченно, как какой-нибудь латышский подвижник прошлого столетия, стремившийся к свету знаний в Дерптском университете.

Арнольд взглянул на жену:

— Ты спишь?

— Просто глаза закрыла.

— Только что вспомнил, как ремонт в квартире делали... Петерис еще стены кафелем выкладывал.

— Да, отличный мастер был.

— Ремонтировать квартиру — настоящая Голгофа.

— Утешай себя мыслью...

— Понял. Интересно, кто по утрам будет вбегать в зеленую ванную и открывать никелированные краны?

— Арнольд, тебе не...

— Все равно, абсолютно все равно. Пусть подавятся!..

Арнольд слышал равномерное постукивание колес на местах стыков рельсов. Как грустный метроном, эти звуки отзывались в сознании, и он представил, что это его путь дробится под колесами на стальные отрезки. И каждый отрезок рельс приближает его к границе, границе, отмеченной на карте, земле и в сознании людей, которая отделяет государство от государства, систему от системы, разрознивает людей и народы, отрицает прошлое и сулит будущее. Остается настоящее, такое обманчивое мгновение, оно не дает права и возможности выбора. Но граница — преграда высокая, ее не переступишь, можно сказать, она почти абсолютно надежна, как далекая стена...

... как далекая стена за Бранденбургскими воротами. Она выкрашена в белый-белый цвет, и, надо полагать, человек, переползающий через нее, на таком фоне подобен крохотному черному клопику, а может быть, таракашке, так и чешутся руки прихлопнуть такого. Инсектов надо уничтожать, и мухобойка тут заменяет автомат системы АКМ. А светлая стена тянулась через миллионный город, рядом стоял Хорст, он что-то рассказывал на ломаном английском языке, и Арнольд отвечал, точно так же коверкая слова. Они познакомились прошлым летом, когда в Риге по обмену гостили немецкие студенты. Этого парня мало интересовали ганзейские памятники архитектуры Риги, килограммы дешевого в то время кофе, янтарные бусы и матрешки. Концерт органной музыки Хорсту тоже быстро противен, потому что фуги его соплеменника Баха еще толком не успели прорезонировать под величественными сводами Домского собора, как отоварившиеся экскурсанты стали перебивать звуки музыки шуршанием бумажной обертки. Хорст оказался практичным немецким мальчиком. Тогда его родная рабоче-крестьянская страна еще жила ханжескими иллюзиями и делала попытки искоренить

аборты, комбинируя рекламу презервативов со строгостью закона. У Арнольда связей было достаточно, сначала Хорст учился куреткой выскребать зеленый огурец, набил руку и был допущен в операционную, где помог двум пациенткам прервать нежелательную беременность, при этом скрывая свой арийский профиль под марлевой повязкой. Домой Хорст повез соответствующие профессиональные навыки и полный комплект инструментов для осуществления этой небольшой хирургической манипуляции.

И вот Арнольд гостит в городе с медведем на гербе, воочию видел телебашню, воздвигнутую на Александер-платц, и знаменитые часы, видел в музеях голову Нерфертити и головной убор Фридриха Великого, побывал в клинике Шарите и на нудистском пляже, в веселой компании познал берлинские ночные рестораны, дворец Сан-Суси и Трептов-парк. Довелось посмотреть и на границу, на эту линию фронта в склоке между двумя идеологиями, нержавеющей железный занавес, который перелетали единственно отъездившие на немецких хлебах голуби, мечты, проклятия и многочасовые телевизионные программы. Конечно, форпост свободного мира или международного империализма Арнольд видел на очень, очень большом расстоянии. Хорст рассказывал, что на дороге к пропускному пункту в восточной зоне стоят баррикады, там крутые повороты. На машине не разбежишься, даже тараном не возьмешь, последовал жест отчаяния. А по ту сторону полосатого барьера стоит сторожка, из нее выпархивает девушка в мини-юбочке и, проставив в паспортах печати, желает ездокам доброго пути, и машины катят дальше по широкой магистрали, прямой, как линейка. Арнольд еще, усмехаясь, осведомился, каким образом Хорст так хорошо обо всем знает, небось по ночам, будучи под градусом, он перебирается через стену, чтобы наведаться в публичные дома для американских солдат. Хорст серьезно рассказывал об Onkel Karl, который наезжает в гости каждый год из Westberlin, информация, так сказать, из первых рук. Один народ, два государства... Скажите спасибо Марксу и Гитлеру, ответил Арнольд. Хорст сделал вид, что не расслышал замечания.

Много лет Арнольд получал от немецких друзей красивые поздравительные открытки — «*Glückliches Weihnacht, Frohe Ostern*», — пока однажды не обнаружил в почтовом ящике письмо с маркой *Bundespost*. Хорст писал, что теперь он обитает у Рейна и по воскресеньям делает шпацир мимо Кельтского собора. «*Gruß aus Köln*» — было нацарапано на цветной открытке. Но немецкий оказался чертовски трудным языком, просто мучение со всеми этими артиклями и падежами. Частной преподавательнице пришлось здорово потрудиться, пока Арнольд настолько поднатормел в языке великого Гете, что смог читать детективные романы, слушать «*Deutschlandfunk*» и более или менее свободно болтать. Проклятая грамматика, *ich bin, du bina, der, die, das*, ставь, что больше подходит, все равно два иностранных языка плюс русский — это уже пол-Европы у твоих ног. Европа, маленькое, с зазубринками пятнышко на глобусе, ладонью прикрыть можно, с одной стороны останется Урал, у другой — океан и Канарские острова, к которым причаливают наши морские пахари отдохнуть в Лас-Пальмасе и толкнуть там пятилатовики. Самая большая серебряная монета двадцатого века, символ независимой республики, «*Милдочка*» с народными косичками и призывом к богу хранить Латвию, имеющая теперь уже и коллекционную ценность, превращается в пестрые тряпки, видеокассеты и отштампованные в Сингапуре транзисторы или настроенные телефончики с цифровой тастурой. Жми раз восемь на кнопочки, затрещат реле на линиях, раздастся длинный зудящий сигнал вызова, и вдалеке кто-то поднимет трубку. Алло. Хорст, старый *Kamerad*, помнишь, кто учил тебя бабам на второй месяц брюхо скрести, помнишь, какое вкусное пиво в «*Сените*» и какие сладкие поцелуи в постелях у латышских красавиц?.. Как кричали на митингах дружбы — *Дружба, Freundschaft, Solidarität... Russian Vodka, o-la-la, noch ein bischen Bier trinken, zum Wohl!*..

... телефон на столе. Часы с лениво ползущими стрелка-

ми, глоток крепкого кофе, ночь и дымок сигареты. В три — писк звонка, нетерпеливо поднятая трубка и Нью-Йорк на другом конце провода. Кружащие по орбите спутники, великолепная слышимость, боязнь чужого уха и тариф десять рублей за минуту... Консилиум родственников и знакомых застыл, прислушиваясь к тщательно продуманному разговору. Время — деньги. Нью-Йорк гостеприимен. Пособия, устройство на работу, курсы языка и виды на подданство. Отдел виз зверствует. Рейган молодец. Рига продолжает сидеть на чемоданах, все здоровы, все надеются на скорую встречу. Никто не хочет терять надежду. В конце обе стороны шлют через океан по пять поцелуев. *Поцелуй Ларочку пять раз! Понял, пять раз!* Ясно, что *понял*. Слышимость становится идеальной. Конспираторы! Пять телефонных поцелуечиков — рижские знакомые выдадут отъезжающим пять тысяч на срочные расходы, а в Штатах родственники за эту сделку взаимно рассчитаются свободно конвертируемой валютой по советскому спекулятивному курсу. Конспирация... Будут денежки — можно будет оплатить международные разговоры и пересылку мебели в контейнере, пойдутся средства на взятки чиновникам, останется и на пропитание, и на будущий гонорар за уход за семейными могилами. Какие-то пять минут с трубкой в руке, слова, банальные слова, а пальцы чуть ли не на ощупь осязают деньги... О, Нью-Йорк, богатый город, цитадель сионизма, частица земли обетованной! Уолл-стрит и Гарлем, пацифисты и бездомные на экране Центрального телевидения, по Пятой авеню несутся лимузины, и колеса «*Боинга*» вот-вот коснутся бетона беговой дорожки международного аэродрома Кеннеди, в Объединенных Нациях говорят о разоружении, Большой театр следит за премьерами своего балета, элегантность Манхэттена и великолепные зубы широко улыбающихся негров, полиция ловит гангстеров, а в кадре сидит Марлон Брандо с красной розой на смокинге и говорит, что любит Америку. «*Крестный отец*» заботится о семье, зритель затаил дыхание, фильм сопровождается музыкой Нино Рота, а...

... а поезд неумоимо мчался по покрытым туманом осенним полям Латвии. Виднелись домишки, в их окнах мерцали огоньки, дворы пусты, яблки давно сняты. Мотоциклист на большаке, бродячая собака и покинутое до весны гнездо аиста на верхушке опоры линии высоковольтной передачи. Мимо промелькнул улегшийся на ночлег поселок. Дома из силикатного кирпича с высоко задранными антеннами на коньках крыш, облезлая церквушка и облезлый народный дом. На провинциальной станции поезд дальнего следования не останавливался. Промелькнули загнанные на резервный путь цистерны, то ли нефти и аммиака, то ли с цементом, синие глазки стрелок, трансформаторные будки и станционное здание. Тихое и одинокое, освещенное тусклыми лампочками. С перрона скорому поезду салютовал дежурный в небрежно надетой форменной фуражке и тапочках. Над головой у него сверкала вывеска с названием «*MEITENE*» * — «*МЕЙТЕНЕ*».

Где еще на свете найдется станция с таким названием, подумал Арнольд. Назвать таким невинным именем место, где издавна крутились спекулянты и шлюхи, обсыпанные вшами мешочники и жадные до водки солдаты. Девушка, моя последняя девушка в Латвии, еще несколько километров, и начнется литовский край.

— Я покидаю свою историческую родину, — сказал Арнольд, вглядываясь в исчезающие огни городка.

— Только сейчас решился?

— Жребий брошен.

— Мог бы и в оригинале процитировать.

— По-латыни я знаю только, как тазовая кость зовется... Сейчас будет литовская граница. Все. *Dažu labu ziedu Gaujā kaisīju*³...

— Неужели уже Литва? — вмешалась в разговор попутчица.

* meitene — девушка (латышск.)

— Да, — подтвердил Арнольд, — мы в братской республике. На первой же остановке меня ждут триумфальная арка и духовой оркестр.

— В Литве чудесный творожный сыр. Советую купить на обратном пути.

— Впредь мы молочные продукты будем покупать в другом месте.

— На рынке все ужасно дорого, — неожиданно сердито произнесла попутчица и зазвенела золотыми браслетами на руке. — Я себе это позволить не могу.

— Кто не работает, тот не ест, — высказался Арнольд, которому самоуверенная мадам стала действовать на нервы.

А женщина презрительно поджала губы, опять взялась за книжку, и Скарлетт О'Хара продолжила беспощадную борьбу с судьбой. В этот момент проводница открыла дверь:

— *Кому горячий чай?*

— *Чтош, матушка, будем чаи гонять,* — ответил Арнольд.

Пока соседка искала мелочь, он попросил принести два стакана кипятка. *Кипяток, до нарезки нужен кипяток!* . . . Плавно закрылась дверь, на маленьком столике рядом с банкой с цветами дымился стакан в жестяном подстаканнике, а соседка вытасила из сумки кулек с пирожными.

— Может быть, вы тоже выпьете кофе? — любезно спросила София.

— Спасибо. Я от кофе спать не буду, — ответила женщина и вгрызлась в «наполеон».

Наворачивай жирное, наворачивай, злорадно думал Арнольд, глянь, от обещанной пластической операцией красоты остался только шрам на подбородке, схалтурил докторишка, денежки выкачал, кожу натянул, а над швами не потрудились, сметал, как мужик прохудившийся картофельный мешок. Сладкий крем и опухшие ноги с узлами варикозных вен, проступающими сквозь нейлоновые чулки. Да, приятного аппетита и хорошего сна! . . . Раздражение Арнольда легко понять, ведь подсознание весьма точно воспринимало заряды отрицательных эмоций, и Арнольд мог поспорить хоть на ящик коньяка, что барынька из тех, кто при каждом удобном случае упоминает должность мужа, заслуги родителей и свои права . . . А женщина тем временем принялась за маковую булочку. На краю стакана виднелись карминовые следы губной помады.

За окном придавленный ночью лес сменился полями, горизонт терялся в темноте, а деревья тянулись к небу хмуρο и угрожающе, сливаясь в тяжелую, призрачную стену вдоль железнодорожного полотна. Казалось, что этой чаше тысяча лет, что она повидала и как князь Витаут вел своих соотечественников на борьбу с тевтонцами, и словно из романов Сенкевича выехавших польских кавалеристов, с поднятыми мечами воевавших со шведами и с русскими, захвативших в свое время Московию, а как-то в сентябре пытавшихся, вооружившись ими, встать на пути танковых колонн Гудериана. Лесной массив был большой, мелькали стволы, и казалось, что здесь, в чаше, могут блуждать языческие божки, одинокие души жертв чумы и проказы, лесных братьев. Хотя взойдет солнце и осветит прекрасный сосновый бор, тропинки, автостоянки и плакаты с призывами хорошо вести себя и не бросать на землю горящие спички. Очередная иллюзия, вымышленный кусочек сахара на закуску. Как в детстве, когда зажигал лампочку в погребе, полном привидений. Как у парней, любящих похвастать, как весело было в армии, или у женщин, которые, кормя грудью малыша, рассказывают подругам, что все ерунда, немного поорала и родила.

Проводница принесла стаканы с горячей водой, Арнольд открыл банку кофе и разорвал обертку рафинада.

— Мне ложечку, — попросила София.

— Ваше слово для меня закон, — Арнольд уже размешивал ароматный напиток.

— Да, кофе нигде не купишь, — сказала попутчица, разжевывая яблочное пирожное.

— В Бразилии колхозы организовали, — выдал Арнольд и вытасил копченую колбасу.

— В магазинах нет, а люди и кофе пьют, и сервелат достают . . .

— Я краду. С ножичком в руке, — сказал Арнольд и, раскрыв сладной нож с костяной ручкой, нарезал тоненькими ломтиками колбасу. — Надо закусить деликатесом, за праздничным столом положено.

— А что сегодня за праздник? А-а, революция . . .

— О, исключительный праздник. Исключительный, — тут Арнольд почувствовал на плече руку Софии. — Сидим в теплом вагоне, несемся сквозь тьму и дождь, угощаемся лакомствами и неотвратимо приближаемся к намеченным рубежам . . .

Арнольд жевал колбасу и, поигрывая алюминиевой ложечкой, невольно думал о закаленной, засунутой за голенище солдатского сапога ложке и о собственном будущем, совершенно неясном, спрятавшемся где-то вдаль, в темноте и неизвестности. Только и радости, что мазохистски пугать себя возможной судьбой аутсайдера, полным крахом, непоплатенными счетами за квартиру и электричество, выселением на улицу, безработицей и залитой дешевым виски трусостью. Допиться до ручки, тоже мне достижение, главное, чтобы стакан всегда был под рукой, вот этот самый, по семь копеек штука, в который . . .

. . . в который с бульканьем льется коньяк, пьянящий экстракт армянского солнца. Отец с жадностью потянулся рукой за стаканом, потом опомнился, виновато улыбнулся и стал искать еще один пустой стакан. На столе их было с полдюжины, но все загажены, вонючие. Арнольд сказался негордым и налил себе коньяк в восточную пиалу. Бог знает, как в этой свиной кухне очутилась настоящая восточная пиала. Молча они поднесли напиток к губам и дернули.

— Сушит? — спросил Арнольд.

— И не говори, — ответил отец, сидевший на шатающемся ящике из-под египетских апельсин, вырядившись в испокон веков не стиранную пижаму. Отерев губы рукавом, он принялся рассказывать, что сегодня бросит пить, знает ведь, что пить плохо и вредно, надо кончать с такой жизнью, нельзя себя гробить, да и печень уже большая, а с печенью шутки плохи, печень еще пока не пересаживают, эх, съездить бы на юг, радоновые ванны и виноград очень полезны для здоровья.

Арнольд молча смотрел по сторонам. Раньше отец жил в двухкомнатной квартире сталинских времен, а теперь обитал в однокомнатном вонюге в московском форштадте, с входом через кухню и сухой уборной на лестнице. Наверное, поменялся, а доплата выписал в коллективный сортир или здесь же, в раковину. Физиономия у старика как у всех забулдыг, что показывают по телевизору просыпающимися у котла с бражкой. На лице и в поведении симптомы алкоголизма в чистом виде, как иллюстрация к учебнику. А в квартире запах мочи, одеколона и плесени, на столе пустые бутылки и остатки еды — надкусанный пирожок с рыбой, засохшая горбушка черного хлеба и пачка маргарина. Прогнивший пол, голуби на подоконнике и лампочка *Ильича* на потолке.

— Ужасно люблю коньяк, сынок! Коньячок, — шепелявил отец, разыскивая в помойном ведре среди тресковых костей окурки сигареты.

— Кури! — сказал Арнольд, вытаскивая из кармана только что начатую пачку *«Космоса»*.

— Терпеть не могу с фильтром, — ворчал отец и, прекратив археологические раскопки, довольно ловко прикурил от газовой горелки.

Они выпили, и отец сетовал, что дома нет ни лимона, ни шоколада. Кофе тоже не помешал бы, горячий, дымящийся кофе. Шипели горелки на плите, обогревая холодным зимним утром кухню, паук в углу плел свою сеть, соседи за стеной запустили радио на полную катушку, а отец все никак не мог нарадоваться, как Арнольд вырос, каким стал красивым и умным.



— Значит, ты доктор? И людей лечишь? — не устал он переспрашивать.

— Да, да, — отвечал Арнольд.

— Это хорошо, что ты вспомнил своего седого отца... У меня так судьба сложилась, жизнь собачья... С квартиры хотят выселить, электричество отключили, еще, чего доброго, в кутузку посадят.

— Лечиться не посылали?

— Посылали, — отец трясущимися пальцами потянулся за бутылкой со звездами. — Еще как посылали!.. Будь здоров!.. Пришлось таблетки глотать, над тазом сидеть... И гипноз. В твоё тело вливается тепло, твоё тело тяжелеет... Первые недели после психушки, как выпью, так рвет... Ничего, привык, прошло... ну, будь здоров, сынок!..

— Будь здоров. Ты работаешь?

— Кем только не работал... Слесарем, грузчиком на пивоварне, санитаром в больнице, как его там, служителем в зоопарке...

— А сейчас?

— Ой, родной сын, родной сын, а допрашивает, как

участковый. Мильтон придет, папочка под мышкой, все расспрашивает, когда я на работу устроюсь... *Тунеядство*. Чтоб у него яйца отсохли, слышишь, чтоб отсохли!.. А у меня два авторских свидетельства были. Хочешь, покажу?

— Не надо, верю.

— Нет, покажу. В жизни не врал, — согбенный мужик привстал на ноги и с пьяным упрямством стал рыться в шкафчике, перебирая разные повестки и квитанции, бросая на пол старые газеты, обрывки бумаги, пробки и засохшую колбасную кожуцу. — Не могу найти... Эх, пропали... Эх, авторские... Я в Оргсинтезе работал. С раком боролся. С лейкозом. Ты знаешь, что такое лейкоз?.. К нам иностранцы ездили. Фрицы и япошки. Спирта всегда вдоволь... Наши же, латыши... А теперь вот я один, не с кем поговорить, понимаешь ли ты, каково это — с утра проснуться, а поговорить не с кем...

— Понимаю.

— В говне ты понимаешь! Мать твою, свиная этакая, ей бы только под кого-нибудь лечь, а я тут один, старый и больной...

— Давай лучше выпьем. Со свиданием!
— Выпьем, выпьем... Поцелуй своего старого папочку!
— Ладно, ладно...
— Помнишь, я тебя в цирк водил? Филатовских медведей смотрели и клоунов. Еще воздушные гимнасты были... Такие смазливые девицы в блестящих костюмах...
— Конечно, помню.

Арнольд смотрел на захмелевшего мужичка, утиравшего рукавом пьяные слезы. Одутловатое лицо, клочки седых волос вокруг лысины. Интересно, меня тоже ждет луна на голове? Причем, размышляя об этом, Арнольд не ощущал ни малейшего сочувствия, понимания или жалости. Вместо грусти холодное равнодушие и желание выбраться на свежий воздух. Страдания, истинные страдания Арнольд видел ежедневно, годами был свидетелем тому, как люди сгибались под тяжестью не подлежащего обжалованию приговора, вынесенного природой или превратностями судьбы. Они медленно усыхали, извивались, как черви, и мечтали только о морфии. Некоторые сопротивлялись, закусив зубы, а после уколов даже шутили. Другие предлагали деньги в надежде на мифические импортные лекарства и знахарей, умоляли врачей или со всей серьезностью обещали скоро поправиться и жить долго-долго. Но ему, представителю самой гуманной профессии, если говорить красиво, ему оставалось только одернуть полы белого халата, отмерить путь до поджидающих в коридоре близких умирающего и говорить какие-то слова, что операция запоздала и нож уже не поможет, или, еще хуже, что операция была напрасной, большой остался на столе. Что для него ныть страдающего от цирроза и алкоголизма старика по сравнению с теми мгновениями, проклятыми мгновениями, когда приходилось смиряться, пятиэтажно ругаясь про себя, и, стаскивая резиновые перчатки, заново осознавать собственную беспомощность. Не помогали утешения и разумные рассуждения, что врач по большому счету всегда в проигрыше. В холодильник лифт вез не только покойника, вместе с изъеденным болезнью телом на каталке ногами вперед катились его тщеславие, вера в свои силы и сожаление. Оставалась лишь голая догадка, насколько на самом деле слаб и беззащитен человек. Какие-то пустяковые семь десятков лет в среднем, и в культурный слой ложится очередной комок праха, даже причина смерти документируется давно умершим, неживым языком.

А отец тем временем сморкался и бубнил, что нечего кобениться, им обоим надо жить вместе, им вместе будет так хорошо, крыша над головой, тепло и много счастливых лет впереди. Арнольд видел, что еще немного, и старый забудыга уснет, а тогда его не разбудить даже первым взрывом атомной войны.

— Послушай, отец! Подпиши эту бумагу! — Арнольд открыл «дипломат» и помахал документом, который нельзя было класть на грязный стол.

— Не подпишу.
— Почему?
— Главное, ничего не подписывать. Тогда ничего не пришьют.
— Ну, ради меня.
— Нет.
— Ты хочешь сделать мне больно?
— А что это? — отец, кажется, очухался и заговорил жалобным голосом.
— Ты собственноручно подтверждаешь, что не возражаешь против выезда твоего сына из СССР.
— В командировку едешь?
— Насовсем.
— Что-о?.. Насовсем?..
— Из России насовсем.
— Ты что, с жидами спутался?
— Можно и так сказать.
— Бросить отца в беде. Подлец, — старик жадно выпил стакан. — Я тебе это не прошу, слышишь, вовек не прошу! Хоть убей, не подпишу! Иуда...
— Почему?

— Собственный сын... В цирк водил... Ты scarлатиной болел...

— Не валяй дурака! Мне было четыре года, когда вы с матерью развелись.

— Только из-за нее, слышишь, из-за нее. Я очень любил своего маленького мальчика.

— Я серьезно говорю! — у Арнольда в тот момент и впрямь руки чесались.

— Я тоже.

— Глянь! — В приоткрытом «дипломате» смиренно, как послушные двойняшки, лежали бутылки коньяка с позолоченными этикетками.

— У нас есть еще что дернуть?

— Может быть.

Отец еще минут пять препирался, канючил, что вовек не простит себе этот шаг, не переживет, если они больше не увидятся. В свою очередь, Арнольд обещал писать письма, слать подарки и раз в год — честное слово — приезжать в гости. Наконец отец вымолвил:

— Ради тебя, сынок, я на все готов!

Арнольд подал «паркер» с черными чернилами, и отец накаркал в нужном месте подпись — размашисто, как звезда эстрады или спорта.

— Но как же ты на чужбине жить будешь?

— Там видно будет...

— Видно будет, видно будет...

— Выпьем...

— Подожди! Ведь здесь твоя родина. Понимаешь ли ты, парень, что для человека значит родина?

— Святое дело.

— Ну, блядь! С жидами спутался... Собственный сын. Тебя надуют, ты их не знаешь. Думаешь, немцы дураки были? Нет, немцы были умные. «*Adolf, nem plinti, šauļ židus Gaujmalā*...» Во как пели. А ты родину, нашу маленькую Латвию... Где может быть лучше, чем на родине?..

— Перестань болтать! Тебе хорошо, тебе! Ну и наслаждайся этими завоеваниями, наслаждайся на здоровье! Жри водку, валяйся в заблеванной норе, валяй дурака... Радуйся своим правам. Эх, поперек горла... — накричавшись, Арнольд в сердцах сплюнул. В конце концов, было глупо и унижительно спорить с алкоголиком, даже если это и собственный отец.

Но отец и не слушал, потому что высоким дрожащим голосом запел: «*Nāk rudens apgleznot Latviju...*»⁵. Слова в затуманенном сознании перепутались, мелодия утонула в коньяке, и старик, немного покашляв, начал песенку про янтарное море. Сосед заколотил в стенку и заорал, чтобы прекратили этот бардак наконец, иначе можно опять схлопотать по шее. Отец виновато осекся и стал ворчать под нос, что сейчас встанет, пойдет и выколет глаза этим паразитам, чангалам и стукачам. Как хочу, так и отдыхаю, а они, они возьмут да вызовут дружинников...

Арнольд разлил, надо было без лишних скандалов побыстрее отключить пьяницу от проблем большого мира. Отец опустошил стакан, пускал слюни, валял во рту рыбный пирожок и ругался. Паук бегал по сверкающей на утреннем солнце паутине, из крана в раковину струйкой текла вода, рядом вещала первая программа Всесоюзного радио, а во дворе ребяташки гоняли шайбу, у них еще были каникулы.

— В Америку... Собственный сын, и в Америке... — мечтательно заговорил отец, глядя куда-то в почерневший потолок, — богатая страна, богатая...

— Богатая.

— Я в военном госпитале подрабатывал. Раненых там слегка подлечивали, чтобы затем отправить в горные санатории в фатерлянде. Был я здоровым сорванцом, немчуры перетаскал — ой, ой, ой... Еще вечерами отвозил их в креслах в кинозал, смотрели оперетты и победы вермахта. За услуги солдаты давали сигареты, карамель, мармелад. Шнапс у фрицев швах, так себе, водичка с портков, тридцать два градуса. Ни черта на него не выменять было. Народ гнал самогон, оккупанты пугали Саласпил-

сом, все равно, один черт, гнали. В сорок четвертом мне светил призыв во вспомогательные войска зенитной артиллерии. Фронт тоже подшел. Красная Армия прорвала оборону, госпиталь эвакуировался. Там один врач служил. Обер-лейтенант. Длинный, худой. Чахотка или ленточный червь. Из прибалтийских немцев. Звал с собой. Мол, чего тебе у большевиков оставаться, они всех в Сибирь...

— Чего ж не поехал?

— Молод был, глуп. Думал, а как мама, что в Германии делать, зачем в пекло лезть. Да, госпиталь барахло упаковывал, так я в неразберихе спер пакет с таблетками. От триппера. Потом его на барахолке на Луцвасале на американские «танки» поменял. Да, какие уж там ботинки, если пописать нельзя... Попал бы я, сынок, в Америку, там бы меня оценили. Там мозги ценят. Университеты в Мэриленде, в Беркли, лаборатории, и...

— Нобелевскую премию упустил?

— А я в Риге остался, как пришли русские, в вечернюю школу пошел... Эх, латыши, лишь бы горох жрать да воздух портить...

Арнольд высек огонь и затянулся дымом. Он не мог понять, была ли тирада об ошибках молодости и ценящей таланты заокеанской стране лишь частью обычного репертуара пьяницы, или это было что-то новенькое, что впредь будет изумлять окрестных синюшников. Как просто: не уехал, не оценили, съели из зависти, споили...

— Жаль, что у тебя нет детей. Мальчика или девочки, — неожиданно заговорил отец. — Я бы им рассказывал сказки про Снегурочку и доктора Айболита... Послушай, давай сходим в баню! Пиво, лавка, березовый веник. Поддать жару... У меня ванной нет. Пойдем?

— Пойдем.

— Обещаешь?

— Обещаю.

— Плесни!

Арнольд молниеносно выполнил приказ. Уже первый глоток стал решающим, и, несвязно лепеча, отец соскользнул со своего апельсинового трона. Арнольд потащил его в постель и заметил, что родитель напустил в штаны. Он уложил обвислое тело на голый полосатый матрац и прикрыл замызганной шинелью железнодорожника. Спер, наверное, подумал Арнольд, наблюдая, как солнечные зайчики скачут на позолоченных пуговицах, а из беззубого рта течет длинная и липкая струйка слюны. Нет, это не было отвращение, как-никак двухлетняя закалка на «скорой».

Пьяный старик, разбившийся об мостовую? Ну и что? В машину, и побыстрее в больницу. Главное, чтобы не успел очухаться, не облевал машину и не начал буянить. Тогда разговор короткий, алкаш получает кулаком по диафрагме.

Автокатастрофы?... Да, противно. На проезжей части куски, каска мотоциклиста и сгустки мозга, а пока себе решь изуродованное тело, халат вымажешь, как на бойне.

Инфекционные болезни?... Потом два дня все хочется руки вымыть. А родственники вопят, что в больницу не надо, это не тиф и не дизентерия, виновата во всем съеденная вчера копченая салака.

Страдания детей?... Наверное, самое тяжелое. Но привикаешь, ко всему привыкаешь. Иначе невозможно работать.

Но в первый год своей работы он однажды вырвался из клетки сдержанности и что было сил врезал розовощекому учителю физкультуры. Такому пижонистому, в нейлоновом тренировочном костюме, со свисточком на шею. Учителишка орал на Михельсона, старого фронтового врача Михельсона, что кривоносый жид — убийца, убийца ребенка, потому что не приехал вовремя, и что он во всем виноват. Старик в растерянности не знал, что ответить, а учитель все кричал и размахивал кулаками. Тогда Арнольд ударил, учитель — лапки вверх, плюхнулся. А рядом на носилках лежала двенадцатилетняя девочка, веснушчатая и рыжеволосая, поэтому личико трупа казалось особенно бледным. Девчушка врезалась в застекленную дверь и перерезала артерию. А директор, вызывая «скорую», вещал, что одна девочка упала и подвернула ногу. В ожида-

нии медицинской помощи педагоги макали в фонтан крови носовые платки и взятую из аптечки марлю, говорили, какое ужасное ЧП произошло, и поглядывали на проезжающие по улице машины... Маленькая девочка, с галстучком и в таких же красных колготках. Вот это несчастье, вот это трагедия. А тут старик в мокрых панталонах. Ему не противно, нет. Скорее это сожаление, совершенно абстрактное, меланхолическое сожаление о покорности человека, о той легкости, с которой он опускает руки и поддается соблазну свободы падения.

На кухне Арнольд прямо из горлышка отпил большой глоток, потом еще один. Начатую бутылку поставил назад на стол, вторую спрятал в «дипломат» и, проверив, как в папке лежит только что подписанный документ, направился к двери. Ступая по крутой лестнице, он еще подумал, что старик, наверное, не один раз по пьянке планировал тут вниз головой вперед и что, вполне возможно, однажды санитары морга будут тащить его труп и нещадно ругаться, что вместо чаевых заработают грыжу. На улице тем временем неожиданно началась метель, резкие порывы швыряли снежинки прямо в лицо, Арнольд поднял руку, чтобы...

... поднял руку, чтобы протереть глаза. Рядом стояла проводница со стопкой белья под мышкой. Она что-то спрашивала.

— Конечно, спать будем на чистых простынях, — ответил Арнольд и протянул пятирублевую бумажку. Проводница замаялась, что нет сдачи, Арнольд сказал, что остальное пусть будет на чай. В конце концов, какое значение имеют деньги. В их ситуации, конечно. Вчера в такси он отвалил четвертной водителю, веселому и покладистому парню, хотя на счетчике было два двадцать. Таксист глазел на него, как на нервнобольного, а он сказал, что наконец-то достиг того счастливого мгновения, когда шуршащие купюры просто бумажки и только. Еще Арнольд припомнил рассказ о банковской машине, которую в июле сорок первого года разбомбили «юнкеры». Ветер гонял по трамвайным рельсам вихри рублей, люди смотрели на миллионы и рассуждали, что через месяц немцы будут маршировать по Москве. Рубли подмел дворник, убитых шофера и охранника закопали прямо там, в парке.

Арнольд помог жене постелить постели и, взяв с крючка куртку, сказал, что покурит, пока дамы будут устраиваться на ночь. Тамбур был пуст, можно было без помех вытащить фляжку. Одно движение, тихие глотки, аромат в горле, и теплая струя забирается в желудок. Но в тамбуре было холодно. Хорошо, что надел куртку. Арнольд погладил подкладку. Волчья шкура! Настоящая волчья шкура. Как на фотографии в журнале «АМЕРИКА» — «Президент Форд дарит Генеральному секретарю Брежневу на память шубу из волчьего меха». Тогда тоже была осень, когда на дворе непрерывно идет дождь, а...

... а вода в ванне такая горячая и душистая. Щетка царапала тело, приятно щекотала его, струи душа ласкали лицо, и издали раздался нетерпеливый звонок в дверь. Арнольд смахнул хлопья шампунной пены и прислушался. Нет, похоже, что звонили настойчиво, наверное, заглянули в освещенные окна квартиры. Опять этот дребезжащий звук. На губах проклятие, халат на плечи. Отпечатки мокрых ног на паркете в коридоре, и предохранительная цепочка в раскрасневшихся пальцах.

Арнольд отпер дверь и увидел мужчину в форменной фуражке и длинном дождевике.

— Добрый вечер, доктор!... Похоже, я помешал...

— У вас, уважаемый, такой татарский стиль, — Арнольд смахнул текущий по лицу ручеек. В сумерках шапка вошедшего казалась зеленой, интересно, что здесь искать пограничнику. Мильтон, обэхэсэсник, чекист — им дело до всех, а зеленошапочники чаще всего гоняли грибников на Курземском взморье.

— Я... Я, наверное...

— Раздевайтесь и проходите в комнату! По коридору вперед. Я сейчас...

Вытершись как следует, облачившись в полосатую корейскую пижаму и обувшись в купальные шлепанцы, Арнольд зажег в коридоре лампочку. Шапку на вешалке украсила

кокарда лесничего. Ну, этот в Сибирь на лесоповал не пошлет, подумал еще Арнольд и выключил свет.

Они сидели в гостиной за круглым картонным столиком, который в старые времена как раз подходил для того, чтобы разорившиеся аристократы проигрывали на нем свои имения. А незванный гость вертел головой и, рассматривая помещение, сказал:

— Богато живете. Красиво.

— У меня зарплата сто сорок в месяц. Есть чему завидовать, — Арнольд рассмеялся. — Все это... картины, люстры, как в Кремле, дуб и бронза, все это наследство моей жены. Я здесь поднаиматель. Декоративная собачка, хотя у собак есть все же родословная и медали...

— Да... Вы меня не помните?

— Знаете, я сегодня так устал, что собственное имя пришлось бы в чека уточнять.

— Вы мою мамулю оперировали. Весной.

— Ох, господи... Весной, — Арнольд вздохнул и покопился на грубое лицо гостя — лет пятьдесят, седина на висках, обветренная кожа, — у меня по три операции в неделю. Теперь уже Рождество на носу... Выпьем!

Сверкали гравированные грани хрустальных рюмок, напиток казался теплым и ароматным, Арнольд делал глотки один за другим и старался стряхнуть усталость, давившую на плечи, как мешок с песком, связавшую суставы, склеивавшую веки, вдобавок ему казалось, что эта мамуля, которую он якобы оперировал весной, на самом деле существовала, ее сын-сирота ворвался в квартиру, сейчас соберется с духом, ударит огромным мужицким кулаком по столу, будет ругаться, угрожать и полезет драться. Все возможно на этом свете, а ему хочется спать, сон разливается, как вода, теперь только одеяло на голову, и пусть все катятся...

— Вы маме рак прооперировали.

— Так. Ну говорите смелее, говорите! Умерла? Я ее в гроб вогнал?

— Что вы, доктор!.. Здорова. Все в порядке. Вчера в саду хрен копала...

— Хрен! Рыбное заливное с хренком... — Арнольд уже смеялся. Коротким, застревающим в горле смехом. Лесничий отставил в сторону сухую рюмку, выглядел он совсем растерянно.

Арнольд взял бутылку и торопливо продолжал:

— Седьмое ноября сегодня. Военный парад, демонстрация трудящихся. Иду я по пустому коридору клиники, смотрю, на горизонте отсвет салюта. Меня ждет мой одноклассник Карлис, за одной партией сидели... Спрашивает, что, операция кончилась?.. Так быстро?.. А я думаю, какого дьявола я не умотал на юг отдыхать, в командировку, мало ли куда можно уехать... «Широка страна моя родная...» Так нет же... Он мне дозвонился, только на меня вся надежда... Пейте, пейте, на улице мерзкая погода, похоже, что бог не коммунист... Карлис смотрит на меня, как католик на богородицу, а я глаза потупил, руки за спину прячу и говорю, старик, я не господь бог, ты меня прости, вскрыл, а там полно метастаз... Какая красивая женщина была!.. Мама Карлиса. Сидим за столом, детский бал, у Карлуши жабо под подбородком и десять свечей на торте в честь его дня рождения, открывается дверь, входит мама, спрашивает, дети, кто еще будет лимонад пить... Такие делишки! Вдали салютуют, а я должен говорить про финишную прямую, неделя, может быть, две, может, месяц. Не всегда заранее скажешь... Морфием помогу, хотя тоже мне помощь, говно на палочке... А у Карлиса текут слезы, он несвязно лепечет, благодарит, дурак этакий, сует в руки сверток, это, мол, мне к празднику... Я, дурак, забрал и облегченно вздохнул, смотри, как Карлис уходит, коридоры у нас, знаете, такие длинные... А на набережной все салютуют, видно, тридцать залпов, революцию поминают.

... Приехал домой, оказывается — лосось, здоровая рыба, две миски икры, с белым хлебом и мукой — первый сорт, на кухню в лед поставил. Если еще перчика сверху да лучок добавить. Да, лососик и бутылка французского

коньяка, а в обмен совет подобрать гроб и белые тапочки. Что я мог сделать, опухоль в два кулака, с голову ребенка. А он мне верил, надеялся... Разлейте, пожалуйста, нет, руки у меня не дрожат, профессия такая... Чем вам в лесу плохо. Свежий воздух и тишина...

— Дел хватит, — пробурчал мужик. — В прошлом году браконьеры ногу прострелили. Дробью. К счастью, кость целой осталась. А еще эти планы, лоси молодые елки обглаживают, бригады гузулов на шее... Господа на сверкающих «Волгах» в лесничество подкатывают. В дверь сарая попасть не могут, а туда же, кабана такого требуют, чтобы у «чомбы» клыки, ну, хотя бы на рекорд Латвии тянули. Наорутся, кто-то еще в лесу заблудится, ходи тогда, как дурачок, аукай, не дай бог, один другого по пьянке на тот свет отправят...

— Извините... Как вас величать?

— Шмит. Карлис Шмит.

— Еще один Карлис. Именины двадцать восьмого января... Выльем, господин Шмит, выпьем! Результатов своего труда вам не увидеть, деревья растут медленно, а я зато свои ошибки в землю закапываю.

— Поехали?

— Поехали... Значит, у мамы все в порядке?

— У вас рука легкая.

— От этого легче не становится.

— Мне вам спасибо сказать хотелось...

— Не надо.

— Ну, не обижайте, мы люди простые, — тут мужик вытащил шуршащий газетный сверток, — носите на здоровье!

— Спасибо! — Арнольд чувствовал, как качается под ним кресло, а тело все глубже погружается в мягкую обивку, словно ракета-носитель выводит его на орбиту, — скажите, только честно, вам говорили, что без денег доктор даже пальцем не шевельнет?

— Говорили... Чего только не говорили... Сестрам давали, за лекарства тоже... А с вами мы разговаривали. В том кабинете, с картиной. Вы сказали, все будет хорошо, операция была удачной, теперь только пусть заживет, хорошо, что больная фигуристая, самое противное — сквозь сало пробираться...

— Да, я так говорю. И деньги беру. Не требую, но беру. Люди покупают не только мои руки, но и надежду. Понимаете, надежду!.. От бутылки коньяка не отобьешься. Полную ванну можно бы налить. А почему мне не брать?.. Мальчишка кончает ПТУ-30, вытаскивает никому не нужные детали и как истинный пролетарий, как гегемон пропивает сотни три в месяц минимум. Сколько же у нас этих фабрик, на каждой кто-то вытаскивает, штампует, фрезерует... Зарабатывает, чтобы революция семнадцатого года была последней... Разве это справедливо?

(Продолжение следует)

¹ В. Лацис — известный писатель и деятель советской власти. Я. Чаксте — первый президент Латвийской Республики. Надгробный памятник Лацису на Лесном кладбище г. Риги в 70-е годы установлен с расчетом, чтобы заслонить для посетителей на главной аллее памятник Чаксте.

² «Красная стрела» — отряд советских партизан на территории «Курляндского котла». «Дикие кошки» — так в народе назывался отряд генерала Латвийской армии Я. Курелиса. Этот отряд сформировали немецкие спецслужбы для диверсионной борьбы против Красной Армии. Часть этого отряда в смуте немецкого поражения и наступления большевиков надеялась восстановить независимость Латвии. Многие, как «предатели», были казнены фашистами, часть, как «лесные братья», сражалась еще после войны, остальные попали в Сибирь или на Запад.

³ «Бросаю цветы в реку, чтобы несли привет любимой» (латышск.).

⁴ «Адольф, за винтовку, стреляй жидов на берегу Гауи» (латышск.). Такую «песенку» распевали участники массового геноцида, члены латвийских полицейских батальонов во время войны. (Прим. автора)

⁵ «Пришла осень расцветить Латвию». Из современной эстрадной песни.

ЯНИС РОКПЕЛНИС

ПЕТЕРБУРГ (фрагменты)

лишь вели вели*
образы смертных
проходят к цели
среди велей несметных

* * *

надо долг отдать Петербургу
как пролитую пятерку — другу
которому лет пятнадцать
стыдно признаться

* * *

ай город Питер
книжное корыто
с тех пор словно ляжки свиные
мозги мои пухнут и ныне

* * *

я в город вхожу из окна
что в Европу прорублено скоро лет триста
я рос на окне
так пойду взгляну
что же в этих комнатах творится

* * *

Здаться плавают в тумане,
Ветры звякают извне,
Месяц льет тарелку манны
Прямо на голову мне.

В голове сплошная каша,
Пресных мыслей облака, —
Бледный дар небес слегка
Звездным сахаром подкрашен.

* * *

здесь на крови сивуху варят.
справляюсь — кто? мой сбился сон!
упьюсь я образом водяры
услышу жизнь как рюмки звон

был клок тумана на закуску
и ветер в кутежи как кров
но я был ясностью окутан
так свято гнали эту кровь

* * *

в ту пору
в моей записной книжке
еще были телефоны ангелов
и когда я был полон пива и надежд
(меньше — надежд, больше — пива)
я конечно звонил им
это ничего что вечно было занято
или же
никто не брал трубку —
главное —
в моей записной книжке
все-таки были
телефоны ангелов

* * *

по большакам ветров я выучился ходить
там в воздухе всегда есть вырытый ветром путь
бугристый ухабистый без булыжников и асфальта
но ведущий через рассудок и крыши
этот скорее туннель из кипящего воздуха
прорубленный в толще воздуха и устремленный ввысь
забавно было когда в легком пальтишке
(поскольку зимнее было сдано в ломбард)
по островам воспетым в путеводителях до мелочей
я шел замерзая но в то же самое время
по большакам ветров запыхавшись бежал я
так незаметное становится более явным
чем заметное и оттиснутое в многочисленных
фиолетовыми (точно круги
под глазами полуночных женщин)
самыми крепкими печатями и могучими словно львы —
бумагах

* * *

начну в демонологию введенье
про их молниеносное паденье
про чистку крыльев наспех и на месте
все демоны — бродяги в поднебесье

так демоны бредут небес по краю
оступятся

и в бездну напрямик
и бледные девицы сбившись в стаю
готовы им отдаться в тот же миг

но демоны без комплексов и злобы
у них, как правило, не к нам — а к небу — счет
вот почему у нас стучат от страха зубы
когда брести по небу наш черед

БЛОК

Ты вовсе не славянский, ты немецкий ликом,
И ныне высечен могильным обелиском,
Но распростершийся душой великой —
Да, чтение к нам приходит разными томами,
И — город весь, с проспектами, домами,
Еще с очами несказанной дамы,
И с вьюгами, которыми живых
Не прекратят кормить в космической столовке,
только чек
Оплачен будет этим всем, то есть ничем.

МАНДЕЛЬШТАМ

и этот с ножом — а много ли проку
выставил подбородок в профиль
а жирок-то в бурях сойдет на нет
как в Альпах со склонов снег

прощай жирок накопленный в школе
из толстых дремотных книг
дух и плоть станут сгустком боли
и сам я буду жив через них

а нож — тончайший, почти незримый
не сало, а время режет как воск
без бахил он бредет столетья низиной
и не клонит его притяжение вод

* души предков

* * *
ветры, жала,
мое сердце
взяли, в дали
окунули
жару дали
жиру вдули

нет у старых истин срока —
скрасит пустоту барокко —
классицизм меня на ложе
спать в отчаянье уложит
ах как нравится двоиться
грезить одному в двух лицах,
хоть в себе увидеть друга —
ты дала мне это, вьюга

* * *
ехал —
юнец
энергичен, красив
вернулся —
вдовы
статистический сын

1984—1985

Впервые с начала
Зимы замерз канал,
И это означало,
Что из цветков калл —
Оструганных и утрамбованных —
Небесные умельцы
Соорудили лед.

Будет где школьникам покататься.
Будет где этике укрепляться.

На этом льду,
Где этика в ходу,
Костер вдвоем
Разведем.

И подвесим небо
Как серебряный котелок.

Поутру, как петушок
На заборчик вскочит,
Может быть, сольемся вместе,
Может быть...

РУБЕНС

Идет, — и не ждал я иного, —
Рубенс сквозь смертные сны,
Павлины, со львами скрещенные, снова
С меня начинать должны.

Сквозь смерть жилы красок вспухают,
И плоть облаков цветет,
И к дому мое дыханье,
Себя опознав, идет.

БЕЛЫЙ ТИГР В ДЕЛИЙСКОМ ЗООПАРКЕ

Как во сне это было роскошно,
Когда белый тигр возник, все затмив!
... Но дамское платье, прекрасная кошка,
Зачем он обрызжет, этот гений и миф?

Гений зверя становится в клетке столь скотским,
Что зверями нас вовек не сочтет...
Кто мы такие, одетые броско,
На которых, сверкая, презренье течет?

* * *
Сегодня встречаюсь я с сентиментальным фильмом,
И я уже заранее переживаю встречу.

(Вот я выхожу. И небо обильно
Облаками долгожданными.
Сосны синеют, и трепещет девчоночьих юбочек стая
Как моя жизнь непережитая.)

Потому что так редко случается с нами,
чтоб предчувствия будущего сбывались
Не плутуя, на все сто!
Пусть даже это будущее — просто фильм.
Зато.

* * *
Рой. Еще раз рой. И рой —
Сухое жалящее племя...
Тебе колодцами надо выкрикнуть
Мимоходной пустыни
Мимотекущее время.

* * *
Служаночка жизнь, в глазах твоих светят
Искры ржаных колосьев,
Закатная тропка куда забросит
В Юрьев день на рассвете?

Служаночка жизнь, зачем ты оделась
В мерцающий уголек?
Тебе трудиться, сбиваясь с ног,
Пока твой кутит владелец.

* * *
мой знакомый дракон что в цветах на лугу
живет и ходит в серебряных брюках
мой знакомый дракон что в свободное время
почитывает Карлиса Крузу* со скуки

(но бывает тоскливо совсем, оттого
дракон переводит Т. С. Элиота)

мой дракон встречается с Карлисом Скалбе
и воспоминания цедит в охотку
в неспешной беседе о душах усопших
у чертовки за стопкой водки

но это всего лишь житейские мелочи!
(в этом месте вы скажете мне)
и кстати личность дракона
неоспоримо
ни ярка ни неповторима

правда ваша
и все же позволю заметить
что и в серой обыденности
скрыта
своя скромная красота

Переводы ГРИГОРИЯ ГОНДЕЛЬМАНА

* латышский поэт

ВОКРУГ ШАРИКА ФАНТАЗИИ

— Слушай, может, не перегружать? . .
— Если б листья облетали птицами,
я бы знал,
куда уходит лето.
— Слушай, может, не перегружать? . .
— Будь цветы, как птицы, перелетными,
я бы знал,
куда уходит лето.
— Слушай, может, не перегружать? . .
— Если бы тепло хранилось в табакерке,
я бы знал,
куда уходит лето.
— Видишь? Я предупреждал — шарик не взлетает. . .

* * *

опусти свой брегет прораствать меж цветов меж тычинок
меж беспечно царящих качнувших соцветья на кон
на закате в глазах наших — все еще отблеск лучины
месяц вогнан еще в немоту как осиновый кол

* * *

На двух крылах, на двух блестящих бритвах
Влечу к тебе, в твоё окно открытое.

Цветок колючий ты, цветочек ненаглядный,
Лишь бритве ты себя позволишь гладить.

Ты хочешь голой быть — совсем — как истина,
В этом мире цветистом — — — — —

НОЯБРЬСКИЙ ЭСКИЗ

снег медленно впитает напряженность
больных деревьев осовелых птиц

коммуникации расслабит город

под тучами балладными боярскою длиною бород
как белые колосья
ветвясь произрастают пешеходы

и тихо катится насиженное солнце



* * *
журчит фонтан где-то
я говорю нигде

фонтан кровавый в небо бьет

пусть бьет

я говорю нигде
таких фонтанов нет
вот деревья растут и гонят листья в небо
но сей фонтан
незрим

да это кровь души
но тебе ее уже не увидать
ибо она прозрачнее
чем слеза

* * *

Мой язык нарциссами, иволгами перепуган,
Оборотнем, инеем перепуган мой язык.

Медленно проходят звуки, мимо, мимо,
Языка не касаясь, скользят,
Великая Немота на острове красном —
На языке моем — хозяйка.

Мой язык нарциссами, иволгами перепуган,
Оборотнем, инеем перепуган
Мой язык.

Красота приходит и играет на свирели песню страха.

ДЕТСТВО СЕТЧАТКИ И ВЕТЕРА

Детство сетчатки, ветер,
Да, конечно же, всепроникающий ветер,
Слагатель основ Вселенной;
Лишенный пространства и времени,
Ни в чьих губах поцелуй еще,
В пробуждении сна горящий,
Да, детство сетчатки, ветер —
Осушитель печали в ресницах;
Пальцы светятся, в снег погруженные.

Детство сетчатки, ветер.

* * *

нет корабли не играют не любят
нет не играют с волнами к ним тяжесть
липнет от волн от легчайших касаний
так тяжело твоей легкой так тяжко
легкой руке твоей тяжко причалить
к темным брегам моим тяжко легчайшей

легкой руке твоей мореподобной
легкой в мерцании плоти течений
в трепете темных глубин в этих знаках
мелей подводных камней ураганов
неотделимой от моря без боли
легкой в кипении пальцев и пены

Переводы ОЛЕГА ЗОЛотова

ГЕНРИХ САПГИР

ОПУС № 4

Как! чужая мысль чужая мысль
чуть коснулась вашего слуха
и уже стала вашей собственной
едва коснувшись вашего слуха
уже становится вашей
Развивая ее беспрестанно
развивая ее постепенно
развивая ее постепенно и беспрестанно
удивительно! удивительно!
Итак для вас не существует ни труда ни охлаждения
ни этого беспокойства которое предшествует
вдохновение для вас
вдохновение послушно не вам
не вы послушны вдохновению
вдохновение послушно вам
я бы даже сказал что оно для вас не существует
гармонически и гармонически
Понимаете ли вы
Понимаем ли мы
ваятель роясь в мягком гипсе
находит уже в нем Зевса
скульптор в куске карарского мрамора
видит сокрытого Юпитера
Раздробляя его оболочку ударами
резцом и молотом раздробляя его оболочку
Прометей освобождает Громовержца

Почему мысль каким образом мысль
из головы поэта выходит выходит
уже вооруженная четырьмя рифмами
вооруженная четырьмя рифмами
как рогатый дракон
василиск базилевс
вооруженная четырьмя рифмами
размеренная и размеренная
и поражает сердца
испепеляет сердца

Никто кроме самого импровизатора
никто кроме самого импровизатора импровизатора импровизатора
не может понять ни изъяснить
эту быстроту впечатлений
эту связь между вдохновением и чуждою внешнею природою
эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешней волею
тщетно я сам хотел бы это изъяснить
тщетно я захотел бы изъяснить неизъяснимое
тщетно я хотел бы изъяснить это

ОПУС № 5

Тузы тройки разорванные короли
сыпались веером
разорванные короли сыпались веером
сыпались на пол
сыпались вокруг на —
и облако и пыль

Из книги «Черновики Пушкина»
(коллажи)
Из цикла «Музыка»
«Каждая стадия поэтического творчества
есть сама по себе поэтический факт».
Б. Томашевский
(новое о Пушкине — 1922 г.)

стаканы гремели
и облако стираемого мела
стаканы гремели
мешалось с дымом турецкого табаку
Как мы засиделись как засиделись не пора ли остановить игру
все бросили карты и встали из-за стола
все встали из-за карточного стола
и встав из-за ломберного стола все бросили карты
всякий докуривая трубку стал считать свой или чужой проигрыш
стали считать начали спор стали считать и начался спор
всякий допивая стакан или докуривая трубку
стал считать свой чужой проигрыш выигрыш проигрыш выигрыш проигрыш
поспорили согласились и разъехались
облако стираемого мела мешалось с дымом турецкого табаку
Не хочешь ли вместе отужипать вместе отужинать
поедем вместе
без ужина я никак не могу обходиться
а ужинать могу только у наших известных красавиц
я познакомлю ты будешь меня благодарить я тебя познакомлю
ты будешь мне благодарен
Едем едем поехали погоняй!
По звонким улицам Петербурга
по темным улицам Петербурга
по петербургским удаленным улицам
по мертвым улицам Петербурга по мертвым улицам Петербурга
по мертвым улицам мертвым улицам мертвым улицам

ОПУС № 6

Теперь стук тележки теперь гром колес
но гром колес только гром колес только стук
окрест меня безмолвие вокруг меня мирное безмолвие
Я все еще не могу я не могу
Успокоясь мало-помалу наблюдал
На второй станции смотрел на
и нечувствительным образом путешествия уже не казалось мне
Но нет лошадей нет лошадей все лошади —
с почтою прапорщик нет лошадей две тройки пошли с почтою
едуший чиновник 10 класса остальные две лошади
Стояла одна курьерская тройка курьерская тройка
не мог ее дать не мог
если паче чаянья прискачет курьер если паче чаянья курьер
если паче чаянья наскочет курьер
или фельдъегерь или что того хуже
то что с ним тогда будет! то что с ним будет! что с ним будет!
что тогда будет!

Беда необходимости
беда — нечего делать

Угодно ли чаю или кофею Я стал смотреть на Я начал смотреть
по Я спросил нет ли кофею и занялся картинками
В первой почтенный старик в колпаке
в первой картине который поспешно принимает
который принимает который с благодарностью принимает
В другой изображена роскошная жизнь
в другой изображена роскошная
в другой изображен разврат развратного молодого человека
Он сидит за столом он сидит
с женщинами любовницами в корсетах и во французском кафтане
и треугольной шляпе
и оборванной и разорванной и в рубище
и разделяет с ними трапезу и питается жолудями и по-братски
разделяет с ними жолуди

Наконец возвращение его разврата — возвращение блудного сына
стоит на коленях он стоит перед ним на коленях
вдали повар вдали убивает
немецкие стихи немецкие стихи сколь разумею для
остальные не имеют рам не удостоились почести рам
и прибитые к стене гвоздиками
гвоздиками как гвоздиками изображают погребение кота
Они не стоят обратить гвоздиками
они не стоят внимания образованного человека гвоздиками
они не стоят внимания образованного любителя художеств
гвоздиками
они как по изобретению так и по исполнению не стоят внимания
образованного человека гвоздиками
худым забором тремя рябинами околицей отпряженная моя телега
полосатые версты облако полосатые версты и между ними —
никого
на небе кой-где облако и солнце
Какая скука! какая скука! Иду назад возвращаюсь и возвращаюсь
какая

ОЛЕГ ДАРК

ИЗ ЗАПИСОК НОВОРОЖДЕННОГО

Наде

Находиться можно с удобством и вниз головой — или что там у меня? — но это непривычно, и я спешу перевернуться. Кроме того, такое положение меня пугает, я не знаю, почему, но мне кажется, оно чем-то грозит. Почему-то я уверен, что предчувствия меня не обманывают. Плохо еще, что они за мой смотрят, я не знаю, зачем, но это так, и это раздражает. Иногда я начинаю перемещаться, последнее время я делаю это чаще, чем раньше, я плыву — здесь можно и кролем, и брасом — нетяжелая жидкость обтекает меня, не обременяя и легко отлипая от пальцев — или что там у меня? Я стал замечать, что скорость моего перемещения растет. С одной стороны, скорость приятна, но я не понимаю, чем вызвано ее увеличение, и тревожусь. Я тыкаюсь головой — я уверен, что ею! — в податливую стенку, которая сначала прогибается, а потом пружинит, и я легко отлетаю обратно, к центру, откуда пустился в путь. Сразу же я возобновляю движение, но уже в другом направлении, и там тыкаюсь, и опять отлетаю, это занятие мне нравится и развлекает. Иногда я понимаю, что меня манит конкретное направление, оно мне симпатичнее других, по-видимому, оттуда исходит какое-то приятное излучение, и когда я тыкаюсь головой, я успеваю, прежде чем меня оттолкнет, почувствовать за стенкой его источник. Возвращаясь к себе, я уже знаю, что сейчас он окажется в другом месте и я изо всех сил устремлюсь туда. Иногда он обманывает меня, и когда я тыкаюсь в стенку, за ней никого нет, он спрятался, но я не сержусь, я уверен, что сейчас он будет в третьем месте и я побегу за ним. Я люблю играть. Вот только зачем они смотрят за мной? Чего они хотят рассмотреть? Их взгляд я не всегда чувствую на себе, он появляется с какой-то непонятной мне регулярностью, и тогда мне хочется крикнуть им: «Да убирайтесь вы отсюда к чертовой матери! Оставьте меня в покое!». Их взгляд я чувствую на себе, как щупальце. Что-то мне говорит, что это все не вечно, что мне придется выбираться отсюда, я думаю, что я и в этом прав. Но если они хотят меня отсюда вытащить, пусть стараются, и мы еще посмотрим. Со мной не так-то просто сладить, если я уже принял решение,

во всяком случае, я сделаю все, что в моих силах, и если Господь не оставит меня, их план сорвется. Мне здесь хорошо. Ко мне вовремя и всегда в достатке поступает питание, я не знаю, как это происходит, но это так. Может быть, через эту штуку, которая у меня в ногах — или как их зовут? Я чувствую, что у меня на них груз, он единственное, что мешает мне плыть, я чувствую, что тащу гору, и хотел бы сбросить ее к лешему, а если она нужна для питания? Да убирайтесь вы! Что вы смеетесь надо мной?! Черт бы вас взял!

Сегодня я, как всегда после различных игр, успокоился в своем центре и впал в бессознательность. Вдруг я очнулся и прежде чем понял что делается устремился перед почти помимо своей воли — вернее как я потом вспомнил и проанализировал желание конечно возникло но даже еще до того как я очнулся и ко мне вернулась способность соображать и так мгновенно я на негоотреагировал что не могу успеть проконтролировать и фиксировать — и с такой невиданной доселе скоростью что я сперва испугался потом уже пообвыкнув пока летел даже не помогая руками этого не требовалось они должны быть руки если я не ошибаюсь? а потом опять испугался уже когда трахнулся со всей силой в стенку так что она необычайным образом прогнулась и я испугался что прорвется и я вылечу отсюда к дьяволу но этого не случилось стенка все-таки спружинила но вокруг действительно на какое-то время все изменилось и я опять испугался мне стало вдруг крайне тесно будто помещение мое сжалось кроме того я возвращался к центру странным направлением не противоположным тому которым пустился в путь а перпендикулярным ему и не понимал, отчего это такое, но потом все вернулось к прежнему. Мне думается, что теперь такие явления будут повторяться, может быть, даже часто, может быть, даже все чаще и чаще. Я привыкаю считать свои предсказания безошибочными, хотя еще ни одно не подтвердилось. Вообще я жду теперь чего угодно, преимущественно самого худшего.

как всегда, я прав. Вопреки моим ожиданиям скоростные заплывы вроде тогдашнего хотя и повторяются, но не так часто, как я предполагал. Однако это ничуть не облегчает мое существование. Зато участились мои неприятные перевороты. Хуже всего то, что мне с каждым разом все труднее вернуться в исходное положение, но пока я борюсь и рад отметить, что не без успеха. Я с усилием перебираю, сучу ногами, — а с таким грузом на них, я вас уверяю, это не так-то легко, — пока не окажусь в своем центре, от которого меня изрядно утащило вниз, а мне все труднее всплывать, хотя я не сказал бы, что моя среда становится гуще и тяжелее, скорее напротив, и потом я отдыхаю, но времени на отдых отпускают все меньше, потому что схватки мои учащаются, и я предчувствую, что скоро они пойдут вовсе без перерыва. Меня совершенно не радует, что они уже не смотрят за мной, потому что, по моему мнению, это свидетельствует только о том, что они что-то замышляют. Поэтому они позаботились убрать и источник излучения. У меня теперь никаких игр, а одни муки, страхи и борьба. Ладно, я буду тоже готовиться, я надеюсь, врасплох они меня не застанут. На первом этапе надо постараться реже оказываться вниз головой. Честно говоря, это у меня плохо получается, и голова все-таки перевешивает. Как только я чувствую, что это начинается, я стараюсь сопротивляться до последнего, я балансирую всем телом, пытаюсь сохранить равновесие, но на какое-то, пусть недолгое благодаря моим усилиям время все-таки переворачиваюсь. Вдобавок и я это склонен рассматривать как нежелательное и неожиданное последствие своего сопротивления, возвращаясь в исходное положение, я почти всегда ощущаю вокруг себя так меня когда-то впервые испугавшую тесноту и всеобщее сжатие и сужение, а также другие, еще менее мне понятные изменения, например, к центру я возвращаюсь не тем маршрутом, а другим. Может быть, мне бросить сопротивляться? Может быть, я себе делаю только хуже? Не знаю.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... ведь если я буду кричать я захлебнусь что вы делаете я же сказал что не же-

лаю подите к черту это же нога и какое же оно у вас холодное только я не понимаю тащит он меня или наоборот заталкивает ааааа ааааааааааа . . . я так и предчувствовал только боялся себе признаться что моя уловка не удастся что ты делаешь кретин осторожнее раздавишь мне голову ааааааааааааааааа . . . Господи! За что ты меня так?! Ох, как болит грудь! И все тело болит, корежит его и ломает, прямо сводит всего . . . Что они делают со мной? Это же не та среда, к которой я привык! . . . Брр . . .

Бум-бум-бум — шумит в ушах. (Или что там у меня?) Господи! Как разрывает грудь! Мне кажется, что пузырек воздуха, который я всосал при выходе, до сих пор там и вырос объемом, но тело болит меньше. Я бы хотел рассказать, что нахожусь в одиночестве, как привик, но, к сожалению, это не так. Вокруг меня несколько таких же. Когда в палате, кроме нас, никого нет, они выбирают из пут и расплзаются по полу, волоча за собой свивальники, но как только угадывают чье-нибудь приближение, быстро разбираются по местам. Я думаю, здесь не может не возникнуть путаницы. Уверен, что они не способны запомнить точно, где кто лежит. Но я не понимаю, как им удается развернуться, слезть с кровати, а потом так быстро взобраться обратно (не забудьте про решетку!). Но еще непостижимей для меня, как они заворачиваются. Один другого — это так, но ведь всегда остается последний, он-то ведь должен все проделать самостоятельно! Мне кажется, это они от незанятости. Почему они не лежат в покое, как я, и не думают, не вспоминают? Разве нам не о чем вспомнить? Там можно было и брассом, и кролем . . . Мне бы хотелось сейчас выпить рюмку коньяка, медленно закуришь, потом лечь на спину, подложив одну руку под затылок, а другой контролируя сигарету (оттого, что не выпростаешь, особенно хочется!), и лежать так без дела, и еще чего-то к этому хочется, только я пока не знаю, чего . . . Да, действительно, хуже всего, что тревожат, постоянно таскают. Эта жидкость приторна на вкус, впрочем, как выяснилось, переваривается, хотя и не слишком желанна. Иногда мне обрызгивает лицо, особенно часто поливает вокруг рта — ведь сосу-то я ртом, правда ведь, да? — и тогда я корчусь от отвращения к липкому составу. Сначала я не хотел сосать, но потом согласился, только чтобы отстали поскорее, а они думают, что от голода. Но я вообще мог бы не есть. Ведь там меня никто специально не кормил, все происходило само собой, я не знал, как это происходит, но это было так, и здесь могло бы быть так же. Только что один из них заполз ко мне на кровать, но я так глянул на него . . . нет, глянуть я не мог . . . я такое ему передал свое ощущение, что он быстро отпрянул от меня и уполз. Давай отсюда, гад ползучий! Господи,

как мне здесь надоело! Хоть ты и позволил меня вытащить, но я на тебя не сержусь. Все мои предчувствия, как показывает жизнь, оправдались, и сейчас мне опять кажется, что это все временно, и скоро я покину эти места, и меня опять куда-нибудь перетащат. Я думаю, я и сейчас окажусь прав. Хорошо только ночью, когда меня никто не трогает и гады ползучие спят. Беда, правда, что приходится спать самому, но сны бывают приятные. В последнюю ночь мне снилось, будто я плыву брассом. Источник излучения манит меня, я плыву к нему и знаю, что на этот раз он не обманет и, когда я толкнусь, он окажется здесь, на месте. Я плыл особенно медленно, как никогда не бывало на самом деле, и, когда я приблизился, стенка вдруг начала выгибаться в мою сторону, как тоже, по-моему, не бывало, мы соприкоснулись, наконец, и стали ласкаться, она ходила волнами под мной, и я нырял по ней, как корабль . . . Ужасно! Неожиданно все это прекращается, и после некоторого неясного промежутка, во время которого я куда-то падаю, я опять нахожу себя, но в другой уже позиции. Меня тянут за ногу, временами она натягивается, как струна, но я опять подбираю ее под себя, ее опять вытягивают назад, я продолжаю дергаться полягушачьи из стороны в сторону — часто было непонятно, то ли я подбираю ногу, то ли сам подтягиваюсь к ней, в результате ногу отрывают, чем, между прочим, все и могло бы кончиться в действительности, я думаю, спасла случайность. С бешеной скоростью я лечу вперед, как ядро, помню радость освобождения и просыпаюсь от собственного крика. Мне кажется, какая-то моя часть там вправду побывала, и не все было сном, а потом таким ужасным кошмаром. По-видимому, сном было то, что я там побывал весь, а на самом деле — только часть меня. Я до сих пор ощущаю на себе нетяжелую жидкость, которая медленно просыхает на коже. К сожалению, я не могу попробовать ее на вкус и идентифицировать, но если бы вы лизнули меня, вы сами бы убедились, что я не обманываю, вы могли бы и просто пощупать меня, если брезгливы. Бум-бум-бум — шумит в ушах.

Меня опять перетащили. Я предполагаю, что так пойдет и дальше. Я думаю, что здесь я тоже на время. Неприятность в том, что никогда заранее не угадаешь, где окажешься в следующий раз. Должно быть, в этом есть какой-то пока ускользающий от меня смысл, по крайней мере здешний. У нового места я тем не менее нахожу ряд преимуществ. Во-первых, у меня свой огороженный участок, где меня иногда оставляют одного. Во-вторых, гадов ползучих, которых я невзлюбил с первого взгляда, рядом нет. В-третьих . . . Я не знаю, как это происходит, что я, как паровоз-кукушка, спую между двух пунктов следования. Мне кажется, что я и там, и здесь преобладаю одинаковое количество времени, но это, по-видимому, не так, судя

по произведенным действиям и затраченным усилиям. Там я успеваю наплаваться, наныряться, напрыгаться, как дельфин, набрызгаться и наплескаться. Здесь же я еле успеваю наспеш поесть и тороплюсь обратно. Может быть, я скорее похож на командировочного, который заскикивает в буфет на пять минут, чтобы опять бежать потом в учреждение. Он ест стоя, заливая костюм супом. Может быть, это сравнение удачнее, чем с кукушкой. Там мне нравятся больше. Чтобы туда попасть, я стараюсь чаще и больше спать. Меня возвращает голод — это такое чувство, о котором они постоянно здесь говорят (я сам слышу) в отношении меня и которое, мне кажется, они специально во мне развивают, чтобы я не умел уйти окончательно. Я знаю, кто виноват, что кормление стало для меня такой проблемой и требует столько энергии и силы желания, а не происходит все само собой, как когда-то, когда я даже представить себе не мог, что может быть как-нибудь иначе . . .

Теперь я знаю, что у меня есть глаза. Наверное, они были всегда, но на них, по-видимому, раньше была пленка, а теперь она спала, и я могу осмотреться. В ушах больше не шумит, а, наоборот, я нормально слышу и понимаю, что это слова. Я уже знаю очень много их значений, больше, чем вы можете себе представить . . .

Если правда, что умалишенный не может менять манию, как уверяет меня Наполеон, я буду первым. Во всяком случае, я все чаще об этом подумываю, уж слишком они меня мучают . . .

Корова ты моя, мама! Значит, это ты! Пока я не увидел собственными глазами, к сожалению, не целиком тебя всю, а часть, я уже предполагал нечто подобное, но не верил себе, когда начал вдруг узнавать сослепу знакомое, например, источники излучения. Их два, это руки, они такие же, как у меня, только значительно больше. Когда то, что было вокруг, становится рядом, это трудно представить! Во всяком случае, это ты держишь меня здесь и не даешь мне вернуться насовсем, хотя это бы тебе ничего не стоило, но разрешаешь мне каникулы и этим только зло дразнишь?! Сколько бы я ни просился, ни корчился от боли на твоих коленях, ты только упрямее их сжимаешь! Сколько бы я ни стучался! Ты нарочно в насмешку кладешь меня у самого входа, чтобы дразнить, чтобы я слышал приветливый рокот волн и страдал от их недостижимой близости. Видит око . . . Близок локоток . . . Зелен виноград, зелен, зелен . . .

Теперь я понимаю, что был несправедлив к ползучим. Они просто активнее и острее меня реагировали на то, что с нами случилось, менее меланхоличны, менее склонны к рефлексии, нежели я. Я должен был их понять. Они, наверное, искали пути, чтобы выбраться отсюда и вернуться обратно по тому скользкому полу, но не успевали до чьих-то шагов и от этого только больше и отчаянней суетились. А я на них раздражался! Если бы они опять были

здесь, я знаю, как бы я сделал. Их следовало объединить и организовать, иначе ничего не добьешься, добровольно вы нас не выпустите, теперь я понимаю. Это должно было стать бунтом, восстанием, может быть гражданской войной... Мы бы вас душили свивальниками... Они часто склоняются надо мной и показывают мне разные ненужные вещи. Я смеюсь над ними, а они уверены, что мне приятно. Они постоянно хотят меня радовать, это их главная идея. И все время таскают меня и передают из рук в руки. Здесь очень много лиц, они перекидываются между собой именами, которых я, мне кажется, никогда не запомню. Я бы хотел уметь отпугивать от себя... Они любят, когда я улыбаюсь... Я бы хотел уметь улыбаться зловеще...

Эта, кажется, такая тонкая и нежная стенка стала непреодолимой стеной, обросла снаружи мясом и отделила меня навсегда! Когда я в отчаянии толкаюсь в нее, она не пружинит, как бывало, а мгновенно твердеет под толчками, я чувствую, как мышцы хватают друг друга за руки в организованном кордоне. Среди них есть и конные... Там можно было по-всякому, но в данный момент я бы предпочел кролем... Не буду! Сказал же, не буду! Я по вашим ужимкам вижу, что там что-то подмешано. Придумали добавлять какой-то горечи! Но я их быстро раскусил. Теперь определяю уже по тому, с какой миной они подходят. Сначала я просто старался отпихнуть и расплескать или же, если не удавалось, сразу выплевывал. Но потом я стал хитрее действовать. Я набирал послушно в рот, а когда они отходили, тогда выплевывал. Но и они мне уже не доверяют, а ждут, когда я проглочу, стоят рядом. Я держу во рту, терплю горечь, но не глотаю...

Я не понимаю, почему я вреднее Наполеона, которому все сходит с рук. Я ничего не имею против него, он добродушный парень и даже нянчил меня, когда чересчур раскапризничаюсь, а он при этом не слишком занят. Однако отчего ему такие послабления?! Это же несправедливо! Его уколуют раз, когда слишком раскритичится с Бернадоттом (не может простить предательства!), а я часами лежу с капельницей, да еще так перетянут простыней, что вздохнуть трудно. Раньше я сопротивлялся. Когда подходило время кормления, полз в угол, хотя мне нелегко в моих пеленках, и там боролся. Но недавно решил соглашаться сразу добровольно и сам протягиваю руку. Я надеялся, что тогда они не станут меня зря мучить. Однако они по-прежнему меня связывают... Кто там теперь вместо меня? Знает ли он обо мне?..

Я не знаю, что такое «новый год», с которым они все теперь так носят, но не жду особенно интересного. Успокаивает то, что до него еще далеко, судя по их неслабому приговору. Подойдет срок, и они засуетятся, я знаю. Так было, когда началось с «днем рождения». Я про это не записывал, потому что не показалось

достаточно интересным, а сейчас вспомнил к слову. Они говорили целый месяц, особенно их радовало, что это мой «первый день рождения». Они произносили так, точно я должен быть без ума от этого явления, и подкидывали меня вверх. Мне не было страшно, я теперь вообще ничего не боюсь, но досадно. Когда они меня подкинули в какой-то раз, я подумал, что было бы неплохо, если бы они меня упустили и я дрябнулся бы об пол. Я нестерпимо захотел разбиться им назло. Их бы тогда перекосило, я думаю. И чем же все это кончилось? Они так забегали, что на время забыли даже обо мне, и это единственное хорошее, что тогда случилось, а потом вокруг меня оказалось столько лиц (и все с именами! Они пытались мне представиться!), сколько никогда не бывало. А потом наставляли всякой ерунды, ею долго не поразвлекаешься. Если таким же обещают «новый год», я лучше нарочно сползу со стола, когда они отвернутся. Я представляю, как их перекосит, когда они увидят разбитую голову. Жалко, что они не распознают здесь умысла... Я был просто маленький дурачок, который даже не знал, есть ли у него руки. Мне следовало в большей степени пользоваться тем, что есть, пока это было возможно: наслаждаться водой, загорать на берегу, жадно впитывая излучения. Если б можно было вернуться, я не стал бы напрасно бороться и на этом зря расходовать силы...

1) Прежде всего необходимо захватить переходы и коридоры. Это главное — чтобы они не могли поднять тревогу раньше времени. Победу обеспечивают быстрота и согласованность действий.

2) Дежурные по палатам и в коридорах должны быть уничтожены.

3) Основной удар направить в палату, где они нас вытаскивают на свет. Работа там идет постоянно, и мы сможем спасти и вернуть обратно некоторых братьев. Людей уничтожить! Братья нас ждут!

4) Я раньше думал, что коров даже будить не стоит. Мы вернемся в них без их ведома. Непринципиально, чтобы каждый в свою. Время дорого. Это была ошибка. Все народные войны терпели поражение из-за узости взгляда и местных интересов действующих сил. Мы пока не имеем права возвращаться! Мы должны прежде спасти и объединить всех!

а) Наладить связь с другими роддомами;

б) помочь им организовать и освободиться. Людей уничтожить;

в) формировать сводные отряды и отряды милиции для контроля городских улиц;

г) захватить телеграф, почтамт. Это важная задача;

д) наладить связь с другими городами и менее крупными населенными пунктами;

е) подумать, как можно установить контакт с теми, кого еще не вытаскивали. Согласовать их сотрудничество с нашей борьбой (пятая колонна и т. д.)...

Я, может, их даже не слишком осуждаю, я ведь понимаю, что они на мне срывают зло, потому что меня трудно кормить. Это ты, мама-корова, поместила меня сюда и заставила меня хотеть есть, да еще в строго установленном времени. Ты мне когда-нибудь выколешь глаз этой твоей штукой, только имей в виду, я этого не хотел, то есть я сейчас не про глаз, а про все, что вокруг... Нет, я не прошу и не завидую ему, ему ведь все равно придется выбираться. Я просто хотел бы знать, есть он там на моем месте или нет. Если же там свободная вода, то это с вашей стороны гнусность — меня здесь держать. Когда я там бываю, я не нахожу его, но может быть, его куда-нибудь убирают на это время?..

Я тут вам опять о Наполеоне. Вот он стоит, упершись лбом в угол, у него там — Святая Елена, с эмиссаром Мюрата беседует. Разговор деловой. Все мимо на цыпочках бегут, чтоб не помешать. Он тоже о возвращении мечтает. Но сравните его кровавое возвращение и мое. Один его жуткий бред о высадке, десанте и пр. наводит ужас. Однако это я, а не он, лежу с капельницей, прикрученный простыней, и в меня льется физиологический раствор, от которого я только пухну, а тот — на свободе, в своем законном углу. И меня еще нарочно кладут к ней на колени, чтобы я изнывал... Я не против Наполеона, я за справедливость!...

У них только и разговоров, что про елку, какую ставить, настоящую или искусственную. Я не знаю еще, что такое елка, но мне даже хочется посмотреть, хотя я не уверен, что это что-нибудь оригинальное... Каждый раз повторяется все с самого начала и так далее, пока не окажется опять перед ними на столе и не захочу есть. Процесс напоминает долгое и мучительное всплывание, мне приходится заново все пережить, как впертые, так же сильно и подробно. Интересно, что там я начисто забываю, что со мной бывает обычно дальше, по ходу, хотя меня и преследует постоянно смутное ощущение, что это со мной уже случилось. И когда начинает переворачивать головой вниз и тащить к выходу, а я упираюсь, я продолжаю чувствовать, что все знакомое, и когда пытаюсь вырваться по-лягушачьи, а они рвут меня за ногу, и потом я все-таки переворачиваюсь, тогда они за голову, я также знаю, что это уже было. И наконец разрывающий грудь пузырек воздуха. Я с сочувствием отношусь теперь к ползучим, но не желаю там их опять видеть. Там я почему-то уверен, что если догадаюсь, где это со мной бывало, мучения кончатся, и не умею догадаться. Я рад, что это происходит со мной все реже, и я думаю, скоро совсем пройдет. Теперь я большую часть времени здесь, с ними, наблюдаю их, как они когда-то меня. Я не понимаю, отчего такое сделалось, потому что раньше я мотался в обе стороны и не всегда отдавал себе отчет, где я в данный момент: там

или здесь, так часты налезавшие друг на друга по дороге мѣлки, как на бракованной фотографии, но зато тогда я там только плавал и сразу бежал сюда есть, чтобы быстрее вернуться. Мне это нравилось, потому что мне не приходилось переживать этот безумный путь назад (или вперед?), я переносился сам собой, а сейчас, и когда вам рассказываю, меня охватывает ужас при мысли, что мне такое предстоит еще не один раз. Но скоро это пройдет. Я считаю, они так нарочно со мной устроили, чтобы я захотел быть больше с ними и в конце концов совсем бы остался...

Если бы мы знали друг о друге, мы могли бы подать друг другу знак, может быть, перестукивались бы. Я бы очень хотел знать, какой он, так же ли ему там нравится, как мне. Если же нет, мы бы с ним поменялись местами, когда они все спят, и моя корова тоже, никто бы ничего не заметил. Но он, конечно, не согласится. Я за это не держу на него зла, а наоборот, готов ему способствовать, у меня ведь уже есть некоторый опыт. Я бы его уговорил не тратить понапрасну сил на бесполезное сопротивление, а лучше пусть наслаждается, пока дают. А поверил бы я сам, если б мне такое посоветовали, когда я был на его месте? Значит, и он не поверит? Но я бы ему все равно сказал и еще про то, как здесь, чтоб он знал, к чему себя готовить, а там — как он хочет, я ж ему не нянька! За это он бы мне говорил о себе, о своих играх и шалостях...

Любопытно, сегодня я чуть было не упал со стола (сам подполз к краю) и так испугался, что еле успокоился. Меня они все вместе утешали, я даже преисполнился к ним благодарности. Выходит дело, я здесь обживаюсь. А ведь когда-то сам хотел сползти со стола им назло...

Свет, я теперь оцениваю, не так плох, если его принимать в допустимых количествах. Временно нам следует стать амфибиями, в этом нам сослужат службу наши коровы, в них мы будем иногда укрываться (продумать, с какой регулярностью, чтобы не повредило здоровью — нашему). Разместить я думаю их вдоль дорог, может быть, на крестах, у которых пригодная для этого конфигурация.

а) Выяснить, чем кормятся;

б) выбрать из наиболее ответственно мыслящих братьев совет для координации и согласования всеобщих действий. На него же (совет) возложить обязанность отдать окончательное распоряжение о запланированном уходе на шельм обратном, когда с рождаемостью здесь будет покончено...

Я по-прежнему отказываюсь есть то, что они мне приносят в кормление и предлагаю мне для очистки своей совести, прежде чем поставить капельницу. Тогда они берут простыню, скручивают ее в жгут, перетягивают мне грудь и завязывают. Один из них вставляет в узел ножку табуретки и начинает закручивать. Это нестерпимо больно, так что под конец я уже не в состоянии кричать,

а лишь беззвучно давлюсь, но тем не менее не стану есть их картошку или кашу, потому что знаю, что, если съем хоть ложку, умру, так как мой неоформившийся желудок не будет воспринимать такую пищу, как они не понимают! Когда им надоедает, они ставят капельницу и уходят. Я себя уговорил, что капельница — это все равно как из бутылочки. Я думаю, они из обыкновенного желания все-таки настоять на своем не хотят нацедить в настоящую бутылочку, хотя это менее хлопотно, чем постоянно мучить меня. Но я их даже не слишком обвиняю. Я уже говорил, что понимаю, как им трудно с моим кормлением. Я бы с удовольствием уже сдался и жил бы и ел бы, как все здесь, как вон Наполеон или Брежнев, но уже не могу, по-видимому, мания сильнее меня, вот если только сменить ее полностью, заменить другой, я уже знаю, какой... Я все чаще об этом подумываю... Теперь они только и говорят о «новом годе», я догадываюсь, что скоро пойдет суета. Они так меня взвинчивают разговорами, что я заражаюсь всеобщим возбуждением и начинаю скандалить. Тогда они таскают меня по всем комнатам и шепчутся со мной на разные темы. Лучше бы бросили расстраивать меня загодя! От этого пресловутого «нового года» я жду самого неприятного поворота в моей жизни. А когда я услышал, что он вдвояков совпадает с очередным днем рождения, я совсем расстроился. Значит, это будет что-то двойное неприятное. Они меня замучили своими днями, их справляют с такой частотностью, что я уже усвоил периодичность и накануне скандалю. Правда, они утверждают, что в дальнейшем будут справлять реже, раз в год. Год, новый год — в Годе, по-видимому, таятся что-то крайнее для них значимое...

Один сказал: «Посмотри, Верочка, как он сразу оживился при тебе». «Это его твой живот привлек», — другой сказал. «Конечно, — третий говорит, — их всех привлекает сферическая форма». «Эта форма лежит в основе всего. Она первична», — кто-то добавил. Я так и рванулся с рук ей навстречу, едва она порог переступила, меня еле та удержала. Я сразу понял, что он там. Мне кажется, и он меня почувствовал и тоже толкнулся в моем направлении. Теперь я знаю, кто вместо меня, но он оказался не там, где я его предполагал, но это все равно. Если бы они мне позволили, я бы его сам лучше оттуда вывел, чем они. Я бы пошел впереди него и все бы ему здесь показывал и объяснял. Он же абсолютно беспомощный...

Ничего страшного, только елка колеблется. Я сначала хотел заплакать, но потом передумал. Там и шары, и остальное тоже есть. Когда зажгли свечи, мне даже понравилось...

Когда на какое-то время они все выходят и оставляют меня одного, я нарочно умолкаю сам и слушаю, как потрескивает что-то в стене. И больше ничего не нарушает тишину! Я представляю, как было бы хорошо, если бы мы все умолкали. Я думаю, в нас всех что-то испортилось, вот те-

перь это неостановимо портится во мне. Что-то изнутри заставляет меня пытаться им подражать, я стараюсь произнести слово, вытягиваю губы трубочкой, лезу наружу языком... Я очень расстраиваюсь, что у меня не выходит, хотя не следовало бы. В глубине души я хотел бы молчать, как вещь, которая мне кажется натуральнее. Дверца шкафа напротив неисправна, не закрывается плотно и на сквозняке скрипит. Я догадываюсь, как она мучается. Теперь я понимаю, что моя новая роль, которую я, видимо, решусь принять, хотя мне и нелегко отказаться от опробованного, окажется спасительной и освободительной. Мы освободим мир от слова...

Однажды я увидел это так. Живое дышащее море, вокруг вышедшее из берегов, вскипающее разноволосой (у кого есть волосы!) пеной. Некоторые уже могут ползти, другие только перекачиваются. Дороги, улицы, площади полнятся бурлящим потоком маленьких, незаметно, но неуклоннодвигающихся тел. Задним мешают волочащиеся свивальники, набрякшие грязью, замешанной на крови, подхватывающие по дороге сейчас ничейные ножки, ручки, головки. Рушатся дома, в которые упорно бьются волны, какую-то часть нас погребают, но по обломкам торпятся дальше следующие. Строчат пулеметы, взрываются гранаты, шлепают по еще стоящим стенам пригоризонтами мозга, крови, кусками тел. Мы сминаем пулеметы, пушки, не успевшие взлететь вертолеты, оставляем за собой расплюснутыми. Ползем...

Я решил. Только надо будет их обмануть. Я сделаю вид, что сдался, пускай торжествуют. Сначала я стану принимать пищу, потом сам пойду в туалет... Но когда они привыкнут ко мне, я вдруг умолкну. Я не думаю, чтобы это вызвало у них особенные возражения, им в сущности все равно, глухонемой ли я, хлопот им с этим не будет. Теперь я понимаю, что надо было сразу стать глухонемым среднего возраста, а не младенцем. Недаром говорят: семь раз отмерь... Я сумею войти в доверие к настоящим глухонемым, постигну их язык. Я знаю, как им неутомя в этом говорящем мире, они, наверное, думают, что они неполноценные, как я думал, когда пытался заговорить, им, наверное, стыдно, но я их уговорю на их языке, что как раз они-то полноценные. Мы составили бы заговор, подняли восстание и уничтожили говорящее население. Я бы один сохранил способность говорить, но об этом никто бы не знал, иначе меня убьют. А теперь я откажусь управлять ими, мавр сделал свое дело, хотя, по совести, имею на это право, это я основал цивилизацию глухонемых, но я ухожу в сторону, тем не менее, пускай они сами теперь, как знают, своим умом, что я, занимался за них решать?..

Ожесточенные бои развернулись в районе... Да выключите вы радио...

Октябрь — декабрь 1987 г.

ЖАК БРЕЛЬ



Игра в создание мифов о себе — наверное, одно из самых забавных занятий человеческих. Стимул личности рождает реакцию окружающих, от сплетен до серии «Жизнь замечательных людей». Масштаб личности равен масштабу мифа о ней. Те, кто в этом плане особенно постарался, остаются в истории. А художники, уходя, оставляют еще и свои творения.

Жак Брель умер сорокадевятилетним. Сцену он оставил, когда ему было тридцать семь. А прижизненную славу Бреля в те годы можно сравнить только разве что с тем истерическим ажиотажем, которым посмертно удостоили у нас Владимира Высоцкого. Публика, превратив Бреля в идола, перестала его слышать. Или ему так показалось, но выступать он перестал. С глаз долой, чтоб забыли.

При этом денег у Бреля было — кот наплакал. Накоплений он не делал. На вопросы журналистов, как он собирается жить, Брель отвечал: «Я не знаю. Наверное, найду что делать. А потом закончу жизнь в нищете, как все артисты. Потому что деньги — это то, на что я всегда плюю». У Бреля была репутация человека, который не говорит легкомысленно, и ему верили.

Прочитую Бреля еще: «Я хочу заниматься кучей разных вещей, которые мне были недоступны до сих пор: написать книжонку, купить себе корабль . . . Меня никогда не интересовали материальные проблемы. Достаточно хорошего друга и стакана пива, чтоб быть довольным . . . Важно рисковать время от времени . . .». На вопрос: зачем этот уход? — он отвечал: «Мне нужна свобода. Это объяснение наиболее честное из тех, которые я мог дать». И последнее, из интервью «Юманите диманш»: «Я — авантюрист. Песня была для меня авантюрой, и авантюра эта ставит передо мной требование соответствовать тем идеям, которые я сам выдвигал . . . Я считаю, что Брель никогда не обманывал Бреля . . .».

Миф Бреля о Бреле — редкий случай в мифотворчестве. Преподносимое желаемое совпало с действительным.

Брель поступает в центр Гленан, чтобы закончить свое обучение судоводждению и навигации. После этого покупает яхту. Еще одно увлечение — самолет. Новые курсы — и на руках у Бреля права на вождение самолетов, от маленьких, одномоторных, до гигантских «Боингов».

Отдельная тема этого десятилетия — Брель и кино. Два его собственных фильма — «Франц» и «Дальний Запад» — были критикой недооценены, но актерские работы Жака Бреля (учитель в «Профессиональном риске» Андре Кайата, 1967; зануда в одноименной картине Э. Молинаро, 1973; следователь в «Преступлении во имя порядка» М. Карне, 1971, и др.) были признаны несомненной удачей. Брель, по его словам, давал себе лет десять, чтобы стать «приемлемым режиссером», но добавлял: «Если я в один прекрасный день почувствую, как надо делать фильм, чтобы тот имел успех, я тут же брошу это дело». Такой прецедент уже был (сцена), и поэтому можно верить и этому утверждению Бреля.

Но в 1974 году он оставляет кинематограф, поселяется на облюбованных им во время путешествий Маркизских островах и для публики снова как бы перестает существовать. Проходит даже слух, что Брель умер.

На Маркизы он взял только то, что постоянно должно быть под рукой. В том числе часть своей библиотеки, где среди прочих были сочинения Пушкина, Толстого, «Теория перманентной революции» Троцкого, «Архипелаг Гулаг» и другие сочинения Солженицына.

1977 год — год нового бума вокруг «неистового Жака». После десятилетнего перерыва во всех музыкальных магазинах Франции без рекламы, в один и тот же день и час начинается продажа его нового диска песен, который станет последним. Цена — рекордная, 49 франков. Тираж — миллионный. Дополнительные тиражи расходятся мгновенно. Гигантский гонорар, за вычетом 10% для своей семьи, Брель отдает медицинскому центру по борьбе с раковыми заболеваниями.

Умер Жак Брель 9 октября 1978 года от рака легких. За месяц до этого «Пари-матч» опубликовал нечеткую фотографию человека в халате и бинтах, выходящего из госпиталя в Бобиньи. Подпись к фото утверждала, что это Жак Брель. Выпуск «Пари-матч» был арестован. Кроме того, еженедельник вынужден был уплатить 20 000 франков за ущерб певцу. «Преследование и травля развернулись до такой степени, что могут привести к гибели пациента», — говорилось в решении суда.

Бежать от «любви народной» больной артист уже не мог. Мог только отбиваться.

Но бегство (а может быть, точка покая, которой еще при его жизни стали Маркизы) было оговорено в завещании. Похоронен Жак Брель на Таити, на острове Хива-Оа, недалеко от могилы другого беглеца — Поля Гогена.

АЛЕКСЕЙ ШИПУЛИН

АМСТЕРДАМ

В Амстердамском порту
Моряки распевают,
Их мечты догорают
У свечей на свету;
В Амстердамском порту
Моряки спят, как камни,
И телес наготу
Выставляют, как знамя;
В Амстердамском порту
Умирают они
С пинтой пива во рту
После пьяной резни;
Но в Амстердамском порту
Вновь их девы рожают
И потом отпускают
На простор, в пустоту...

В Амстердамском порту
Белой скатерть не будет,
Коли рыбу на блюде
Морякам подадут;
Гордо выпятив грудь,
Как циклопы, хохоцут:
Море, бурные ночи
Да удачи чуть-чуть!
Шлюхи, как и треска,
Невкусны и костлявы,
Да и те — словно павы
У матроса в руках;
Он уйдет в темноту,
Хохоча и рыгая:
«Ну и шторм, дорогая,
Был у нас на борту!».

В Амстердамском порту
Танцы в самом разгаре —
Трутся пьяные пары
Животом к животу;
И несет перегаром,
И девчонки визжат —
Их матросы кружат
Под аккордеон старый.
Он хрипит что есть сил,
Веселье нарастает...
Но приходит пора,
Аккордеон смолкает...
Тогда они по парам,
От похоти потея,
Расходятся из бара
По номерам борделя.

В Амстердамском порту
Пьют всю ночь моряки:
Молодежь, старики
Пьют, кто больше, на спор —
Пьют за шлюх, что живут
В Амстердамском порту
И в других городах,
Наконец, пьют за ту,
Что матросам дает
За один золотой
На полгода вперед
Утолить голод свой!...
Пусть на женщин плюют,
Пусть на звезды блюют, —
Я же плачу о них,
Кого жены не ждут!

В Амстердамском порту,
В Амстердамском порту...

КОГДА ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ

Когда только любовь,
Провожают с надеждой
В путь, как море, безбрежный,
Без упреков, без слов.
Когда только любовь,
Лишь твоя и моя —
Нам лишь бог судия,
А не сплетни врагов.
Когда только любовь,
До скончанья веков.
Когда только любовь,
Не затмят это чудо
Ни уродство лачуг,
Ни тшета городов,
Когда только любовь,
Нету правды иной,
Нету песни другой,
Кроме слова «любовь»!

Когда только любовь,
Согреет она
Всех, кто нищ, всех, кто наг,
Лучше пышных мехов:
Когда только любовь,
Возлагают молитвы
На могильные плиты
Безмянных певцов;
Когда только любовь,
Всем, кто жаждет борьбы,
Если мы не рабы,
Надо свергнуть богов;
Когда только любовь,
Пролагайте свой путь,
Чтоб с него не свернуть
На дороги воров;
Когда только любовь,
Пусть литавры гремят,
Пусть из пушек палят,
Прославляя ее!

И пусть нет ничего,
Но есть силы любить;
Понесем на руках
Этот сказочный мир!

ДАНО УВИДЕТЬ НАМ

Сквозь мерзость и дерьмо,
что обступают нас,
Среди холеных рож,
Среди холодных глаз,
Поверх поднятых рук,
Что голосуют «за»,
В бесплодности потуг
Давить в себе раба,
За полосой границы
Запретнейшей из стран,
Где нищета гнездится, —
Дано увидеть нам...

Дано увидеть нам,
Что Красота жива,
И солнечным лучам
Покорна синева,
И ласточки полет,
И корабли в порту,
И друга, что придет,
Когда невоготу!

Сквозь фарс семейных драм,
За чередой измен,
Сквозь матерную брань
Борделей и арен,
За грохотом мартенов,
Строек, поездов,
За воплями сирен
Пылающих портов,
За криками детей,
Играющих в войну,
За играми вождей,
Терзающих страну...

Дано услышать нам,
Как птица среди ветвей
Поет своим птенцам
О счастье летних дней,
Как матери качают
Беспомощных детей, —
И горе отступает
На время в тьму ночей!



НЕ ЗНАЮ Я

Не знаю, почему дожди
Упали с серой высоты,
И хмурых низких туч ряды
Накрыли милые холмы?
Не знаю, ветер почему
При свете утренней зари
Перемешал колокола
С веселым смехом детворы?
Всего того не знаю я,
Но — знаю, что еще люблю!

Не знаю, почему ведет
Дорога к городу меня,
И ветер запахи несет
От тополей на тополя?
Зачем меня туман густой
Сопровождает, как эскорт, —
Чтоб я попал в собор пустой,
Где мог любви молиться мертвой?
Всего того не знаю я,
Но знаю, что тебя люблю!

Не знаю, город почему
Свои ворота мне открыл:
Чтоб я, войдя как тень во тьму,
Бродил среди любви могил?
И почему все люди там
Смеются над моей бедой:
Прилипли к окнам тут и там,
Чтобы позор увидеть мой?
Всего того не знаю я,
Но — знаю, что еще люблю!

Не знаю, почему хладны,
И неприютны, и безлюдны
Все улицы, и нет луны;
Ночь — музыкант, а я — как лютяня?
Не знаю, почему опять
Она меня приводит властно
К вокзалу этому рыдать
Так безутешно и напрасно?
Всего того не знаю я,
Но — знаю, что тебя люблю!

Не знаю я, когда уйдет
Тот грустный поезд в Амстердам?
С тобою он в купе войдет —
Я буду здесь, ты будешь там!
Не знаю я, корабль когда
Из Амстердама отплывет?
Разбито все: любовь, душа,
И тело, и сердца, и память...
Всего того не знаю я,
Но — знаю, что еще люблю!
Но — знаю, что тебя люблю!

БАСТИЛИЯ

«Все, — сказал мой друг, —
Надо изменить!
Всех, что есть вокруг,
Надо истребить
Буржуа!»

Значит, ты считал, чтоб подняться к власти,
Надо утонуть в уличной толпе;
Значит, полагал, что мечта о счастье
В том, чтоб всех, кто против, вешать на столбе?!

Но сознайся тогда —
Никакою мечтою,
Даже если чиста,
Не отмыться от крови!

Да, Бастилия разбита,
Но не стало легче жить!
Да, Бастилия разбита,
Но учись, мой друг, любить!



«Да! — сказал мой друг, —
Мир не изменить!
Посмотри вокруг,
Значит, будем жить,
Как буржуа!»

Значит, думал ты, надо защищаться,
Чтоб за счет других жить и процветать;
Значит, веришь ты, что они из страха
Будут пресмыкаться, а не бунтовать?!

Но сознайся тогда:
Никакою мечтою —
Даже если чиста —
Не отмыться от крови!

Да, Бастилия разбита,
Но не стало легче жить!
Да, Бастилия разбита,
Но учись, дружок, любить!

Я сказал тогда,
Что можно изменить
Этот мир без зла,
И незачем души
Всех буржуа!

В будущее путь — революционный,
Но смешны потуги мелких бунтарей!
В будущее путь — мирный и законный,
Без смертей, без войн и без лагерей!

Поспешим все, кто верит,
И поможем друзьям!
Прочь с пути, недоверье,
Дайте руку врагам!

Да, Бастилия разбита,
Но и мы живем в крови!
Да, Бастилия разбита,
Мир погибнет без любви!

ВЕСНОЙ

О весна, о весна,
И хмелеют сердца от стакана вина.
О весна, о весна,
В Нотр-Даме влюбленных венчает она...
Вновь весна —
Для цветов, для улыбок, для счастья, для света и клятв,
И девчонки, смеясь, дарят вам поцелуи и любящий взгляд!
Видишь, они с сигареткой в губах
Липнут к бравым парням, ловят праздных зевак;
Видишь, они отдаются за так,
Девочки у метро, девочки за пятак...

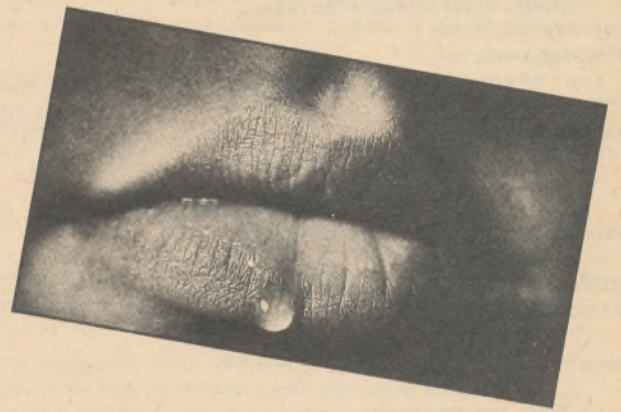
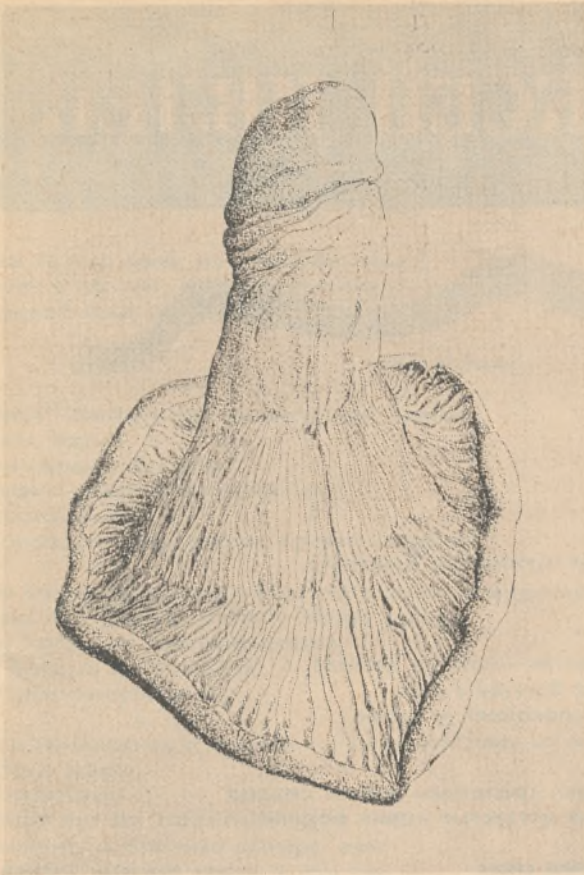
О весна, о весна,
И хмелеют сердца от стакана вина!
О весна, о весна,
В Нотр-Даме влюбленных венчает она!
Вновь весна —
Для цветов, для улыбок, для счастья, для света и клятв!
Весь Париж, хохоча, изменился за сутки, за вечер, за час!
Видишь, Париж стал огромным загоном,
Где пасутся стада ошалевших влюбленных!
Видишь, Париж разбрелся по газонам
В скверах, в парках, в садах, солнышком освященных!

О весна, о весна,
И хмелеют сердца от стакана вина!
О весна, о весна,
В Нотр-Даме влюбленных венчает она!
Вновь весна —
Для цветов, для улыбок, для счастья, для света и клятв:
Вся земля, хохоча, дарит вам поцелуи и девичий взгляд!
Видишь, как чудо растопило беду,
Без повесток явилось белым цветом в саду!
Видишь, как чудо плещет рыбой в пруду —
Первое и единственное счастье в году!

О весна, о весна,
И хмелеют сердца от стакана вина!
О весна, о весна,
В Нотр-Даме влюбленных венчает она!
О весна, о Весна, О ВЕСНА!

ЖАК БРЕЛЬ

ГЮНТЕР ГРАСС. Плодовитый гриб. 1974



СТАРИКИ

Они не говорят, но все подскажет взгляд их глаз полуслепых,
Пусть даже не бедны, но все ж разорены — полсердца на двоих.
Несет в дому аптекой, травами, лавандой, в комнатах темно.
Они живут в столице, а душою там, где не были давно.
Есть от чего смеяться, голоса трещат, как вспомнишь о былом,
Есть от чего рыдать, и катится слеза, и падает на стол.
Они дрожат и ждут, когда их срок пробьют часы из серебра,
Что тикают в дому то «да», то «нет» во тьму: «Мы ждем, и вам
пора!».

Им не о чем мечтать, их книги крепко спят, рояли на замке,
Их кошечка мертва, и рюмочка винца их не заставит петь.
Им тяжело ходить, их мир ничтожно мал, как у грудных детей:
С постели до окна, от кресла до стола и снова на постель.
И если иногда они покинут дом, взяв под руки подруг,
То значит, умер друг, и надо проводить его в последний путь,
И плача не слышать, который час стучат часы из серебра,
Что тикают в дому, их торопя во тьму: «Пора, пора, пора . . .»

Они не умирают, но уснут порой, проститься не успев.
Не разнимают рук, боясь осиротеть, уже осиротев.
Был мудр и глуп, был щедр и скуп тот, что уснул навек,
Неважно для того, кто остается жить, кляня свой долгий век.
Быть может, вы его увидите однажды в скорби и в дожде:
Он вам уступит путь, замешкается чуть, и, значит, быть беде . . .
Но вот и для него пробили смертный час часы из серебра,
Что тикают в углу: «Пора, мой друг, во мглу! Пришла твоя пора!».
Что тикают в углу то «да», то «нет» во мглу, куда и нам пора . . .

Переводы ВАДИМА ПЬЯНКОВА

АЛЕКСЕЙ ИВЛЕВ

УТРО. РИЖСКИЕ СТИХИ

1

Облака удлинённые, будто
и в самом деле
рассвет. Рот
откроешь — облака небо щекочат,
будто сегодня рожден
и смерти нет.

Фонари в волоконцах тумана, видимого лишь на просвет,
тихо-тихо ветви растут,
тишину усиливая.

Достанут до неба ль грядущего?
Не шелохнутся.

Ветви дышат смертью, и значит — покоем,
выдыхая жизнь — суету, время.

Липкая кровь перегноя,
от корней подымаясь к ветвям,
чистоту обретает

и прозрачность
и поет в неподкупных ветвях, с небом готовых слиться,
но грохот

нарастающий
первого

грузовика

(броневика?)

ломает остатки сна XIX столетия,
и я закрываю окно,
чтобы Он Ничего Не Заметил,
и ныряю в постель.

2

... и если ты погладишь по спине
подушкой пальца паука-крестовика,
тобою скоро дрема овладеет,
и будет сон глубок
и не страшен ... Будь мужчиной, Литература.

3

И как в детстве, дурачась,
с ума сойти,
кровь увидав
на простыне материнской —

пятно в форме Чувашской АССР.
Контурная карта грехопадения
твоего. Тебе
предстояло обжить ее искупленьем,
сам по себе освенцим.

И по красным полям необозримым
уже знакомый с портвейном,
ощущать тошноту и тяжесть
— концентрат —
и невмочь паек сухой поедать.
И поминальной кашей в растерянности
давиться.

4

«Закутаться в женский платок,
пойти по России с сумою
все дальше и дальше на юг,
рыдая, икая и воя ...»

5

— будь мужчиной, Каштанка.

6

Моя жизнь — агония детства.
Учимся бегству в сны.
В них спокойней и лучше.
В них и ты уместен.

Засыпаю, трепетным мясом сердца
ощущая когтистые корни родины.

Но перед сном
по каналу пустому
брачный танец бацилл электронных
наблюдать воровато,
дыхание замедляя,
чтоб не стошнило.

Так входило в тебя мастерство прорицателя
собственных снов — по волнам.

Сила ... И не сразу поймешь, откуда.
Так
отраженные берегом волны приборя
увлекают пловца в океан,
и единственный шанс уцелеть —
лечь на волну, раствориться,
стать частью ее, ощущая
невольную прелесть полета над бездной,

экономя силы для вечернего броска назад —
к реальности,
к твердому дому смерти.

7

«Я ел свинину без хлеба
на фоне пейзажа пейзажей,
в свинину в бумаге, в бумаге
погружаясь, не глядя, зубами,
чтоб не стошнило ...»

И пошел, пошел зигзагообразно
по дороге женщин, стариков и детей,
корыстно любя,
испаряясь ...

Сердце — будто в чреве ребенок —
слепое, в слизи,
безутешное ...
— Аборт!

Ты свободен.
Ты можешь уйти.
За тебя
Всё сделают дети.

ЧУЖИЕ СТИХИ

Мы только знак, но невнятен смысл.
Боли в нас нет, мы в изгнание едва ль
Родной язык не забыли.

Гельдерлин

Полет поцелуя над свалкой, над сварой
псов, взрыв
цистерны у виадукка,
живые факелы автомобилей,
автопилотов.
Хороводы бульдозеров вокруг кладбищ.

Ты новое время танцуешь, торжество сновидений,
пальцы в струнах вязнут, гитара узлом,
ты танцуешь головокруженье,
и бред, и полувстречу,
и губы полуоткрыты.

Все по-прежнему, знаешь... Те же
новые мифы
рождаются,
чтобы тут же сгореть, и ты —
эпицентр и причина пожара, как
деревья красиво гнили, и кто ты,
пленник ее волос,
на ветки снов моих намотанных мертво?!

... Но — струенье их под дождем
(сразу: водоросли, кино, смех аммиачный)
тяжелое,
татуировка «бабочка» тушью спрута...

Так ты рос для нее,
Забить Невиденное Не В Силах.
(Где я видел это уже? Взгляд
на колени косою
африканца... Не видеть.
Не дышать. Не быть. Так)

я рос для тебя
на суку эдемском —

ухом во весь экран.

Хмурые голые трубы. И там же —
с лампой масляной в легких руках
в темном воздухе заброшенном, да? —
прилети, бабочка «мертвая голова», да? —

и качается в такт голова
однострунного сердца
на берегу восточном Остзея
в одиночестве нашем
без тел.

1988

ДУЭТ

Ты произносишь слово «человек», и уста смыкаются, и
снова —
молчание, но нет любви.

Ты произносишь: «под моими ногами лежит человек» —
и смотришь
под ноги. Там земля, и становится страшно, но нет
любви, и ты
уходишь.

И только лишь если ничего не произнося, представить,
что
лежащий в земле человек — ты, понимаешь, что слово
«человек» кое-что значит.

Ты приходишь домой усталый, разбитый,
берешь наугад книгу и
засыпаешь на первой странице.
Проснувшись, включаешь лампу и ищешь книгу (не
помня названия,
лишь

в уверенности — вчера
ТЫ ЧИТАЛ КНИГУ, прежде
чем отключиться.) И
не находишь. Встаешь — тебя ждет работа. Свет
режет глаза. И уже открывая дверь, возвращаешься,
чтобы
выключить лампу, и замечаешь вилку, так и не
вставленную
в розетку.
Свет.

1988

НЕИЗБЕЖНАЯ ВАРИАЦИЯ НА ЗНАКОМЫЙ МОТИВЧИК

Кто-то устроен так, что нигде и никогда не пропадет.
А кто-то — так, что пропадет везде и всегда.
Но самое интересное: тот, кто устроен так,
что нигде и никогда не пропадет, действительно
не пропадает, а...
вот видите?

ЧУВАШСКАЯ КУКЛА

Глаз едва приоткрыт,
взгляд по трещине в снегу потолка блуждает,
находит местечко пошире, протискивается,
видит звезды.

Губы мертвенно-бледны,
дыхание удивлено.
Сквозь лиловатости проступает природная смуглость,
но космический холод в мозгу
морщинит соски,
знавшие лучшие времена,
знавшие, что такое мой голод.

Так в свое отражение я погружаюсь, как Китеж,
когда нет тебя, Недотрога.
И тобой становлюсь.

А когда ты приходишь,
я, по-сучьи щелкнув зубами,
ставлю себя на место —

на столик у зеркала —
зализывать тайну.
Когда?..

1988

ЭРГАЛИ ГЕР

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛИЗА

I

В семнадцать лет я носил узенькие, залатанные разноцветными латками джинсы «Вранглер» и был похож на кузнечика, а еще больше — на поздно проклюнувшегося цыпленка. Жил я тогда на С-м бульваре, на пятом этаже дома, в полуподвале которого, если помните, помещалось знаменитое по тем временам кафе «Белочка». Знаменито оно было своей клиентурой, которую собирал вокруг себя огромный электрический самовар, восседавший, как Будда, на низком столике в углу заведения; доступ к нему был бесплатным — заплатив три копейки за первую чашку, можно было весь день просидеть в кафе, попивая бесплатный ароматный чаек и сверяя часы по милицейскому патрулю, возникавшему в дверях подвала без пятнадцати минут каждого часа. Да и случайноному человеку, однажды заглянувшему в «Белочку», хотелось сюда вернуться, милиция в этом смысле не была исключением: тут жили как дома, а это для наших кафе не правило, а напасть. Бродили от столика к столику выжившие из ума арбатские старики, свихнувшиеся кто на политэкономии, кто на Книге Йова; бузила и эпатировала гостей столицы зеленая наркота; длинноволосые хиппари читали английские книжки в мягких обложках или искали в головах друг у друга, и тихо скучали чистенькие, учтивые гомосексуалисты, всему на свете предпочитавшие доверительные беседы и свежие булочки с марципаном.

Теперь все не то: хиппари, как известно, перевелись — их сменило ушербное коротконогое племя панков, перевелись и булочки с марципаном, и чердаки, где мы ширялись по кругу нестерилизованным шприцем, — и живу я уже не над «Белочкой», а над приемной химчистки, под которую переоборудовали «Белочку» лет пять назад. То ли она была слишком уютной для нас с вами и растлевающе действовала на нашу способность стойко переносить все тяготы Великого похода, которым живет страна, то ли ее попросту сочли нерентабельной — неизвестно. Никто никому ничего не докладывал, как вы понимаете, да и спросить в таких случаях оказывается не у кого, и некому объяснить, что в комплексе с нашей молодостью и близлежащим винным магазином «Белочка» была вполне рентабельной. Подобные дела вершатся у нас безлично и тихо, как бы сами по себе, по логике собственного развития, как это имеет место в природе, — «Белочка» сама себя прекратила, превратившись в химчистку, как превращается в гусеницу легкрылая бабочка.

В то лето, помнится, я очень был удручен окончанием школы и необходимостью что-то сделать по этому случаю для своих родителей: написать что-нибудь гениальное, какой-нибудь «Вечный зёв», а еще лучше поступить в институт. (Я выбрал второе и, надо сказать, до сих пор жалею.) Родители перебрались на дачу, оставив меня «заниматься в городе», и я занимался со всем, так сказать, нерастраченным пылом юности. Вставал в половине двенадцатого или около того, будил приятелей, таких же усидчивых в этом деле, мы шли сдавать бутылки к Палашевскому рынку (его уже тоже нет), а оттуда завтракать в «Белочку» — бывало, конечно, что я просыпался один или вдвоем с Танечкой Гушиной, звездой моей юности, — мы, по школьной привычке, любили просыпаться вдвоем, — или вообще просыпался черт знает где — это неважно: все равно поутру все дороги вели в «Белочку», а уж оттуда расползались, как раки, по образному выражению Гоголя. Попав в «Белочку», в этот смешитель, можно было вынырнуть под вечер бог знает где: всяко бывало. В Ленинграде, бывало. На внуковских дачах, бывало. И в родном 356-м отделении милиции тоже бывало. А Танечка Гушина, звезда моей юности, проснулась однажды в Того

замужней женщиной, вернее, одной из «мужних» женщин тамошнего начальника департамента по делам культуры и кооперации. Но это, понятно, случай из ряда вон; чаще же мы безвылазно торчали в «Белочке», цепenea в ожидании чуда от скуки и косности бытия. Можно даже сказать, что вся моя молодость была упорным ожиданием чуда, и не только моя. Конечно, и с нами порой случались, но какие-то всё не те чудеса — в случаях с нами плоть с удивительным постоянством торжествовала над духом, так что в идеалистическом тумане наших воззрений фатально вырисовывалось волосатое рыло реальной действительности — зрелище, надо сказать, и впрямь захватывающее, однако же не чудесное, как я понимаю по прошествии многих лет. Истории все были наподобие той, что легла в основу данного опыта и которую я вам сейчас расскажу: здесь, как увидите, нет ничего чудесного, не считая того, что все это было на самом деле, было и прошло вместе с молодостью.

2

Я сидел в «Белочке», скучая от острого материального неблагополучия, и слушал вполуха рассуждения о сходстве рассказа, как литературного жанра, с половым актом — автором этого замечательного открытия был Вольдемар, красавец мужчина с накрашенными ресницами, — когда заметил, что нас разглядывают изумленно и откровенно: последив этот взгляд, я подсек улыбку, блеснувшую в полуподвале, как рыбка в мутной воде. Девушка была в голубом, как мой собеседник, платье, она топталась в очереди перед разложенными на прилавке сладями, с любопытством оглядывалась по сторонам и уже вытанцовывала ритуальный танец знакомства, только никто еще не успел принять вызова. Маленькая хипповая сумочка (или большой кошелек? — это меня заинтересовало) болталась на ее загорелой шейке. И сумочку эту тоже никто не успел принять, хотя обстановка в кафе заметно электризовалась: в ее голубых глазах, во всем ее энергичном облике чувствовалось что-то весьма обнадеживающее — провинциальная общительность, очевидная, так сказать, распахнутость, высокая готовность к энергетическому обмену с внешней средой — я почувствовал её заряженность на себе, потому что встал и пошел к прилавку, как электрик по вызову.

— Привет! Как у тебя с деньгами?

— Ничего, до дому как-нибудь доберусь, — охотно отозвалась она. — Ты всегда считаешь чужие деньги?

— Нет, — соврал я. — Иногда. Когда хочется познакомиться — нет. Когда хочется позавтракать — да. А тут так все совпало, ты просто не представляешь. Ужасно хочется позавтракать с тобой: завтрак вдвоем, доверительность и интим, преломление хлебов опять-таки. Совместный прием пищи сближает, как всякий физиологический акт. Жаль, денег нет. Я подождал бы, пока они появятся, но ты к тому времени можешь сильно проголодаться...

И так далее минуты три. Для затравки.

— А твой приятель, он что, не предлагает тебе совместного акта? — спросила она, доброжелательно прослушав весь текст.

— Он тебе нравится?

— Ты знаешь, не очень, — призналась она, потом взглянула на меня с подозрением: — А тебе?

— Ты знаешь, нам трудно... — признался я. — Он серьезный мужчина, а я, по его выражению, бабник.

— Ай-я-яй... — укоризненно пропела она, оттаивая. — Ну конечно, вам трудно найти общий язык...

Зато мы нашли общий язык очень быстро. Ей хотелось выглядеть столичной и взрослой, и у нее получалось, надо сказать, неплохо, она очень старалась, хотя, конечно, у нее не было никакого понятия о столичных манерах — и слава богу; не было анемичности, усталости, лярвозности, а была живая и смелая провинциалка, ходуном ходившая под своим «взрослым» платьем, сквозь которое, как два голубка, проклевывались очень такие девичьи груди; мне хотелось прикоснуться к ним, они притягивали, как притягивает электрика оголенный провод, но я сдержался; разве что эту грань мы не перешли — к тому времени, когда подошла НАША очередь.

Звали ее Лизой, и это имя ей шло, в нем тоже было что-то электрическое. Она закончила девятый класс и вместе с сестрой, занудой и старой девой, отдыхала в Крыму, а теперь едет домой, в Новогрудок (?), а сестра в Минск, у них там в пединституте стройотряд собирают, так что в Москве они проездом, всего на один день, вечером в поезд, и прощай, Москва, столица, прощай, веселая курортная жизнь без папы с мамой! Хорошо, что она смылась от сестры, та до сих пор киснет в очереди перед Пушкинским музеем, за культурой стоит, а сама в слове «Хемингуэй» ухитряется четыре ошибки сделать — ну да ладно, им ведь не дашь приткнуться в какую-нибудь очередь — они же с ума сойдут, а в очередь встал — и всё, родная стихия, можно отдышаться, восстановиться, выяснить, кто за кем и чего дают — смотри ты, какая насмешница — сестра в Крыму только в очередях и оживала, да еще когда выговаривала: «Ли-и-за, да как ты себя ведё-ёшь, и куда ты бе-егаешь, я вот ма-а-ме все напишу...», — а там жизнь кипит и играет, бьет ключом, да всё по голове, как говорил Игорь (?), никакого кино не нужно... А море? О море? Это же сказка! — можно было не сомневаться, что она с толком, очень содержательно провела время в Крыму. Сколько же ей лет, пятнадцать? Ах, шестнадцать...

— А ты что, бедный? — спросила она то ли с искренним, то ли с насмешливым любопытством, когда выяснилось, что я съел свою половину бутербродов, а она — свою половину пирожных; мы взглянули друг на друга, поменялись тарелками и рассмеялись, а Вольдемар за соседним столиком не обращал на нас решительно никакого внимания. Я ответил, что нет, не бедный, напротив, обеспеченный и благополучный, разве станет бедный предлагать себя к завтраку? — бедный гордый, а я обеспеченный и нахальный, теперь такой стиль, разве она не знала? — Лиза слушала, я перемалывал бутерброды и рассказывал, что живу в этом же доме, на пятом этаже, у меня прекрасная музыка, родители на даче, все условия, вот только деньги, выдаваемые родителями раз в неделю, все вышли, вышли и не вернулись.

— Ты не только нахальный, но и это... циничный, — заметила Лиза. — Какие еще условия, для чего?

Я ответил, что для этого тоже, но не только для этого; бывает, что девушкам приятно пожить пару дней в доме с видом на Кремль, примерить на себя чужую жизнь, они ведь любят, девушки, примерять чужие наряды, и я лично не вижу в этом ничего предосудительного. Лиза улыбнулась. Слово за слово, мы позавтракали и нашли общий язык, потом погуляли в переулках Арбата — надо же ей взглянуть на Арбат, да и я в те годы любил гулять по Арбату с девушками, которых любил, а любил я в те годы всех девушек, с которыми доводилось по Арбату гулять, — такой уж, надо думать, это район. В переулках было безлюдно, жарко, и Лиза в своем нарядном голубом платье порхала по серому асфальту, как китайская бабочка. Мы выпили по бокалу шампанского в «Адриатике», и там тоже было пусто и тихо, только два низкорослых негра, посольские шофера, изображали из себя иностранцев, и там же я поцеловал Лизу в ушко — у нее было млечное, изящно вырезанное ушко, и, пока она болтала, много завираясь, о светской жизни в Крыму, я целовал ее и думал о том, как славно выглядит вот такое нежное, крохотное, теплое, светоносное и, судя по всему, весьма эrogenное ушко, как хорошо это характеризует женщину и как это вообще хорошо. Эти и некоторые другие мысли я изложил в проникновенной речи, завершив ее приглашением отобедать у меня дома. Лиза выказала веселое изумление:

— Однако кто-то плакался, что дома нет хлеба, кто-то как будто три дня не ел, или я ошибаюсь?

— Не хлебом единым жив человек, — ответил я. — Сейчас мы возьмем в гастрономе мяса, зелени, пару бу-

тылок сухого или шампанского, лучше сухого, и ты сама побудешь в роли московской хлебосольной хозяйки. Молодой, удачливой и красивой, — добавил я, видя ее задумчивость.

Момент был несколько шекотливый. Я пояснил, что обойдется такой праздник не дороже, чем заурядный обед на одну персону в любом московском кафе. И дело не только в том, что не оскудеет рука дающего черт побери ты мне просто нравишься ты мне действительно нравишься и я не хотел бы выглядеть перед тобой альфонсом — ты хоть знаешь, что такое альфонс? — вот видишь, ты действительно не глупа и не будем про это мясо.

— Я альфонс не потому, что позволяю женщинам кормить себя обедом, хотя и на этот счет у меня нет пред-рассудков — я альфонс, потому что беру в любви больше, чем даю, а почему так, не знаю. Наверно, от восприимчивости к красоте, добру, душевности — чужой красоте, чужому добру, чужой душевности. Черт его знает...

Это на меня шампанское подействовало, должно быть, — добавил я.

— Я тоже в этом смысле альфонс, — сказала Лиза. — Так что теперь держись.

Она вытряхнула на стол содержимое своей сумочки, пересчитала деньги и объявила, что принимает приглашение быть моей гостьей, кормилицей и хозяйкой и что мы должны будем уложиться в четыре часа и пятнадцать рублей.

В такие параметры да с такой девушкой грех было не уложиться. Я не сомневался, что поставленную перед нами задачу мы с честью выполним.

3

На кухне жарилось мясо и варился картофель, а в моей комнате — свою родители предусмотрительно заперли, — в моей комнате с видом на уезжающий в сизую парижскую дымку московский бульвар пел Элтон Джон, оказавшийся слишком приторным для последующих времен, и исходили соком в сметану болгарские помидоры, заправленные солью, луком и перцем. Я сидел на диване и в одиночестве пил кислый рислинг. Лиза, сославшись на жару, только что убежала под душ, а до этого мы целовались в кухне и на диване, и теперь меня всего трясло. Пора было проявлять инициативу, я пил рислинг и готовился ее проявить, даже сходил на кухню и убавил, насколько возможно, огонь под кастрюлей и сковородкой. Значит, так, думал я, возвращаясь в комнату и присаживаясь на диван... Лиза плескалась под душем, и мне очень живо виделось, как она плещется, голенькая, как бережно обводит мыльной мочалкой грудь и вообще как она моег свое гибкое, тренированное тельце. В Новогрудке все девочки увлекались гимнастикой. Значит, так...

— Здесь чай-то халат, можно его накинуть? — крикнула Лиза из ванной, и я крикнул в ответ, что можно, про себя удивляясь ее нахальству и непровинциальной какой-то смелости — для шестнадцатилетки из Новогрудка она вела себя весьма уверенно.

— Совсем другое дело! — сообщила она, появляясь бо-сая, в мамином халатике, вся посвежевшая и веселая. — Как наше мясо?

— Ваше в полном порядке, — ответил я. — А то, что на кухне, подгорало, и я убавил огонь.

— Ф-фу... И тебе не стыдно?

Она выстала вперед ножку и загодила ее почти до основания. Сердце мое упало, прямо-таки ухнуло вниз, я пристыженно развел руками: ничего нелеее и грубее слова «мяса» придумать было нельзя. Это была стройная, точеная, округлая ножка, она оказалась взрослой и весомее Лизиного тела; вдруг я понял, что по-настоящему эта девочка только начала нагуливать красоту и что настоящая красота придет к ней еще не скоро — тогда, когда душа, быть может, уже перестратит свой пыл, и что красота эта будет великой, способной повелевать и ранить, и что это будет мстительная красота, знающая себе цену и умеющая распорядиться собой, — все это проремелькнуло перед моим носом вместе с заголенной ножкой, а в следующее мгновение Лиза уже сидела у меня на коленях и принимала извинения, и мы пили рислинг, и я чувствовал ее тело, только мамин халат меня немного смущал. Он совсем не возбуждал меня, добрый старый мамин халат, скорее наоборот, и я попытался объяснить это Лизе, напирая почему-то на отсутствие Эдипова комплекса — она не знала, что это такое, но рациональное зерно моих сбивчивых объяснений просекла верно:

— Я не могу его снять, потому что под ним ничего

нет, — призналась она, переползая с моих колен на диван, но там оказался я, я тоже, оказывается, переполз на диван и что-то горячо говорил Лизе, а потом уже не говорил, и это самое, наконец-то, подумал я. Лиза впилась в меня, как маленький кровосос, это было не очень сексуально, но говорило о полноте чувств, потом мы нашли то, что надо, быстрые точечные поцелуи в одуряющем темпе и медленные, проникновенные, вяжущие — в голове у меня забегала рота маленьких, с мелкую дробь, барабанщиков, и дело пошло. Грудь у нее оказалась маленькой, тугой и необыкновенно чувствительной, от нее шел волнующий, непередаваемо нежный запах, чего нельзя было сказать о мамином халате; впрочем, халат этот легко распахивался. Рука моя блуждала маршрутами отважных и смелых, потом дерзко проникла в нежные, потаенные глубины ее сокровенного «я», и Лиза, вздохнув, задрожала, заметалась у меня под рукой, как ящерица, совсем запутавшись в остатках маминого халата, который в конце концов вылетел на середину комнаты, а свою одежду я сорвал рывком, как скафандр. Лиза опрокинула меня на себя — нам незачем было заниматься любовной игрой, не до игры нам было — и я увяз в Лизе, как муха в варенье: увязал, тонул, брал, гудел, как колокол во дни торжеств, потом взревел, как ракета, взорвался, как ракета, и то ли взрывной волной, то ли на реактивной тяге меня выбросило на берег, и я очнулся от Лизы, но не освободился.

Потом все повторилось.

Потом мы пили вино и баловались.

Это мы опускаем, дабы не вводить читателя в искушение. Мы просто баловались; невесомые наши тела висели под потолком, помятые и неуклюжие, как повседневные робы, а души беззаботно озорничали и нежничали, и были счастливы, что нашли друг друга, и благодарны друг другу за праздничную легкость общения, за нежное сияние и дрожь воздуха, за блаженство освобождения от собственной оболочки — мы узнали друг друга еще в кафе, мы сразу отличили друг друга по легкости, искренности, ненасытности, по жадности к жизни, умению высечь из банальной случайной встречи праздничный фейерверк, залп из всех орудий, словно два корабля, встретившихся в открытом море, — и мы любили друг друга: в нежности и озорстве вырели страсть и азарт, бесплотные наши тела налились земными соками и плюхнулись вниз на продавленный многострадальный диван.

И от нее совсем не пахло любовной женской истомой — только вином; только вином, только разгоряченным молодым телом и совсем, совсем немного — маминым дезодорантом, который, по-моему, стоял в ванной.

4

На слабом огне мясо не столько пригорело, сколько ссохлось, и мы безуспешно рвали его на части. Потом все померкло, погрузнело и обернулось суматошными ссорами: четыре часа промелькнули, наше время вышло.

— Я ничего не забыла? — спросила Лиза, впопыхах оглядывая комнату. — Я бы хотела оставить здесь что-нибудь, чтобы вернуться.

Я хотел посоветовать ей бросить копейку, а лучше рубль, как это делают туристы, а вместо этого сказал:

— Ты оставила здесь частицу себя, а значит — вернешься.

Мы поцеловались, как в последний раз, словно там, за порогом комнаты, поцелуи будут уже не те.

— Оставайся, — сказал я. — Не валяй дурака, Лизка, к черту сестру, понятно?

— Да ты что, она же позвонит маме! — испуганно закричала Лиза. — Поехали, она же такой вой поднимет — вся Москва на уши встанет!

Мы вскочили, сели в такси и помчались на Белорусский вокзал, глядя, как обалделые, на оживленные вечерние тротуары.

— Что это за улица? — спросила Лиза, когда мы ехали по улице Горького. Я сказал.

— Ну вот... — протянула она разочарованно, — посмотрела Москву.

— В кино посмотришь.

— Давай попробуем так... — Она задумалась, голубые ее глазки стали далекими и сосредоточенными. Скажем, что ты мой одноклассник, твоя фамилия Володя Смирнов, ты в Москве с родителями, живете у родственников... Нет, не поверит, вот дура, ведь не поверит! Или так: мы познакомились прошлым летом в Артеке, я там действительно была прошлым летом, а завтра у нас слет бывших артековцев, трам-там-там, отлично все получается, ты в Москве у подружки, а после слета домой. Идет? Подружка согласна! Ой, учти, тебя зовут Леша, ты переписывался со мной после Артека. Понял?

Я кивнул. Мы высочили из такси, побежали в зал ожидания, нашли сестру, которая бродила по залу на задних лапах, как бронтозавр, не зная, на кого обрушиться, Лиза встала перед ней свечечкой, и та обрушилась на нее с упреками. Лиза поникла, я тоже понял, что кончен бал, потому что с сестрой все было ясно с первого взгляда: это была дура, притом дура набитая, истеричная и неуправляемая педагогиня — проще было бы уломать бронтозавра. Уродиной я бы ее не назвал, скорее наоборот — лицо ее было красивым, но белым как мел и непривлекательным, и вся она была неловкая, грузная, провинциально одетая, и выражение лица у нее было ужасно провинциальное. Стоило Лизе заикнуться о нашем с ней пионерском слете, как у сестры по щекам потекла тушь, она замахала руками, вспомнила маму, бога, венерологический диспансер, всякие провинциализмы типа «не думай ни за что», «только через мой труп», «принесешь в подоле», а также популярное на Белорусском вокзале «ни в коем разе». Лиза улыбнулась мне издали вымученной улыбкой. Отступать было некуда. Я подошел, представился, рассказал, как долго и тщательно мы готовились к слету, какие цели преследует это мероприятие, традиционное проводимое под эгидой Всесоюзного штаба пионерских дружин, членом коего я имею честь состоять, пожурил Лизу за легкомыслие («да-да, она очень легкомысленна, я даже не знаю...») — пробормотала педагогиня, с трудом скрывая недоверие к моей персоне), — за преступное легкомыслие, уточнил я, ибо иначе не назовешь нежелание поддерживать связи с нами, артековцами, молодой порослью и надеждой, — такие связи надо ценить смолodu, верно? — сегодня они артековцы, завтра выпускники привилегированных вузов, а послезавтра, глядишь, иных уж нет, а те далеке... Сестрица зачарованно и очарованно кивала.

— Хватит валять дурака, — подытожил я. — Завтра на слете будут все наши. Ты и так целый год не давала о себе знать — покажешься, напомним о себе, и чтоб потом каждый месяц писала письма, понятно?

Лиза пристыженно закивала.

— Но это невозможно! — опомнившись, завопила Женя (так звали этот анахронизм). — Я не могу бросить ее в Москве!

Она задумалась с растерянным и плаксивым видом, потом вновь воскликнула, что не может, никак не может, и пошла и поехала, зарыдала-заплакала, замахала руками, совсем затерроризировала бедную Лизу, и я подумал про эту сестрицу Женю, что она человек несчастный, потому что невольный, до того невольный и у п ё р т ы й, что сама себя, даже если захочет, не сможет свернуть с означенного пути, вроде как бронепоезд или опять-таки как бронтозавр, аналог бронепоезда в живой природе...

Через десять минут, получив в камере хранения Лизин чемодан, мы стояли на перроне перед вагоном.

— К черту всё, слезай на первой станции и возвращайся, — шепнул я, уловив момент.

— Да, как же! — Лизин сосредоточенный взгляд буравил стенку вагона. — А если она отобьет телеграмму матери?

Поезд тронулся; Женя заверещала; мы посмотрели в глаза друг другу — видно, и впрямь ничего уже нельзя



было сделать,— вздохнули друг о друге, Лиза шагнула в тамбур и заскользила от меня прочь.

— Маму поцелуй! — крикнула Женя, и Лиза уехала, и мы побрели по перрону в зал ожидания.

— Прямо гора с плеч! — повеселев, сказала Женя, и я, представьте, промолчал, даже кивнул, до того мне стало тошно и безразлично.

Женя, та наоборот, оживилась и посвежела, даже шаг у нее стал легче — уже не казалось, что она на кого-то сейчас набросится — видать, и впрямь нелегко давалось ей шефство над Лизой. Она попросила меня помочь с билетом до Минска, обращаясь ко мне на «вы» и не без почтения, — я вошел в зал ожидания, чувствуя, как реют за моей спиной шелковые стяги Всесоюзной пионерской дружины, но оказалось, что пионерам в этом смысле никаких льгот не предусмотрено, и мы еще два часа про-

стояли в очереди, очень мило беседуя о московских музеях — мы даже перешли на «ты»; потому что моими неотъемлемыми чертами были простота, доступность и демократичность, — прежде чем выяснилось, что на сегодня все билеты на Минск проданы, а на завтра остались только боковые места в плацкартных вагонах. Женя переполошилась, заохала и заметалась перед окошком кассы, а я с трудом преодолел искушение незаметно смяться, пока она ерзает ко мне задом (а кассирше передом плачет); в результате мы взяли билет на завтра и пошли уламывать проводников всех поездов минского направления; Женя висела на мне, как груз греховного прошлого. Я приглядывался к ней с беспокойством и растущим недоумением: не знаю, где у Лизиной сестрицы помещался резервуар слез, но если бы вся она, все объемы ее были одним сплошным резервуаром слез, они бы иссякли к

концу первого часа; а между тем она обильно кропила слезой перроны беспрерывно в течение двух часов, и третий час был на подходе.

— Значит, так, Женя, — сказал я, когда мы проводили очередной поезд на Минск. — Во-первых, хватит рыдать. Ты можешь выслушать меня спокойно?

— Да, — прорыдала Женя, кивая.

— Тогда слушай. Сейчас ты пойдешь в туалет, освежишь личико, поправишь макияж и выйдешь оттуда походкой нормального человека. Ты ведь нормальный человек, в принципе? Вот и хорошо. Эту смелую гипотезу мы проверим. Так вот, мы пойдем с тобой гулять по Москве, потому что эти проводники все равно шарахаются от тебя, как от иностранки. Ты случаем не иностранка? Верю, верю. А переночевать можно и у меня, поужинать тоже.

— Нет-нет, что ты, я не могу, нет, ни за что! . . . — залепетала Женя, и я позволил ей поломаться, потому что на душе было пусто и безразлично. Я охотно послал бы к черту эту грузную девицу с размалеванной по щекам гушью, дурости которой хватило, чтобы прервать мой праздник. Она и на улице продолжала похныкивать, хотя заметно вспряла духом. Троллейбусом мы доехали до Пушкинской площади, оттуда пошли вниз по Тверскому. Я упорно молчал, хотя понимал, конечно, как неприятно мое молчание спутнице — но и спутница, и джентльменство были мне в тягость, я упорно молчал, так что поневоле пришлось говорить Жене — оно и к лучшему, оказалось, потому что собственная болтовня подействовала на нее как успокоительное.

Было около десяти часов вечера — время сумерек, когда одинаково приятны и свежесть воздуха, и тепло раскаленного за день камня, когда и сонная тишина переулков, и нарядные толпы, валящие из освещенных театральных подъездов, и свора машин, спущенных с поводка по знаку светофора, — все кажется как-то по-особому волнующим и значительным. Мы шли бульварами. Женя нервничала, но не очень, много болтала и с интересом озиралась по сторонам, примеряясь к новой для себя жизни. Я слушал ее вполуха, а иногда незаметно приглядывался к ней, пытаюсь понять ее жизнь или увидеть в ее чертах Лизу. Лизы в этих чертах не было вовсе, да и самих черт, по-моему, не было, а было обыкновенное девичье лицо, а точнее, лицо девицы постарше меня года на два, мечтающей обо всем, о чем мечтают девицы, с поправкой на провинциальный пединститут и московские сумерки.

Так мы пришли к моему дому, благополучно перенесли еще один трехминутный приступ сомнений и поднялись на пятый этаж.

— А где родители? — скользнув в комнату, шепнула Женя.

Я сказал, что родителей нет, они второй год работают в советском секторе Атлантиды, так что можно говорить нормальным голосом и вести себя тоже.

— И ты все два года живешь один? — с удивлением и жалостью спросила Женя.

— Да, — удивленно ответил я. — А что?

— Нет, ничего. Я не в том смысле . . . — Она вдруг придумала конфузиться и краснеть. — Просто так странно . . . Одинокий молодой человек . . . Я бы, наверное, испугалась к тебе идти, если бы знала.

Все-таки она сумела меня достать.

— Да брось ты, Женя, — сказал я с досадой. — Взгляни на себя: при желании ты без натуги сможешь меня отшлепать, разве не так? Неизвестно, кто тут из нас подвергается большей опасности. Так что давай не будем льстить друг другу и займемся ужином.

По-моему, это привело ее в чувство. Остаток вечера мы провели мирно: сохшееся мясо — еда одинокого молодого человека — привело Женю в какое-то бабье умиление, и после ужина она прибрала на кухне, а затем в комнате. Я не мешал. Потом мы пили чай и слушали музыку. Было около двенадцати, когда Женя после мучительных колебаний сделала над собой нечеловеческое усилие и спросила, как мы устроимся на ночлег. Я сказал, что в нашем распоряжении диван (один) и раскладушка

(одна). Потом застелил диван свежим бельем, поставил раскладушку, мы немного подискутировали о правилах хорошего тона: кому положено спать на раскладушке, гостье или хозяину? — после чего побежденная Женя отправилась в ванную, а я застелил раскладушку своим бельем.

— Музыка выключить? — спросил я, когда Женя вернулся.

— А что, пускай играет, мне не мешает, — ответила она с каким-то, я бы сказал, паническим оживлением; пожелав Жене спокойной ночи, я вышел.

В те годы была у меня привычка посидеть в ванне с книжкой; теперь я читаю в других изолированных местах, но в юности, когда сердце было не столь чувствительно к нагрузкам, я часами плескался в ванне, почитывая ЛИТЕРАТУРУ и почесывая распаренное тело, только вот курить в ванне плохо, воздух очень сырой. И в тот раз, помнится, я залез в ванну с намерением скоротать в ней часок-другой — раньше двух я не ложился, — а заодно и смыть с себя такой содержательный, но жаркий день. Тело мое еще помнило Лизу и пахло ею; я залез в ванну, и горячая вода смыла все запахи, я сказал Лизе «прощай» и отдался чтению. Не помню, что я читал, — помню, однако, что очень скоро раздался стук в дверь и взволнованный Женин голос сказал:

— Там телефон звонит, просят тебя . . .

— Скажи, что иду . . .

Я наскоро вытерся, надел трусы, прошел в комнату и застиг Женю ныряющей под одеяло: на ней были трусики и лифчик, белые трусики и белый лифчик. Звонил мой приятель Фома, и, конечно, он первым делом поинтересовался, кто это подошел к телефону: Фома был любопытен, как женщина. Еще Фома сказал, что он там-то и с теми-то, они всё выпили и думают, не податься ли ко мне; я в мягкой форме отклонил это предложение, сославшись на поздний час, Фома хмыкнул и пожелал спокойной ночи мне и очаровательной, он надеется, незнакомке, которая интересно откуда вытаскивала меня к телефону. Я оставил на его совести эту бестактность, положил трубку, выключил музыку и потушил свет. Женя на диване заятаилась, как мыш, и даже, по-моему, не дышала. Я лег на раскладушку. Заскрипели пружины, потом стало тихо. Очень тихо.

5

И началась дурацкая штука, похожая на игру в поддавки. Нам не спалось — мне и Жене: мы вздыхали, ворочались в своих постелях, и воздух в комнате ощутимо сгушался, как будто в чашку жидкого кофе капали вязкий, приторно-сладкий ликер. Дурацкие эротические и даже, пардон, порнографические сценки рисовались мне в этом густоющем воздухе, и я даже не пытался понять, как, каким образом от полного пренебрежения гостьей я деградировал к такому пристальному и концентрированному вниманию — во всем была виновата ночь, в юности такое случается.

Женя вздыхала, ворочалась на диване, потом опять становилось тихо, только за окнами, далеко внизу, изредка проносились машины.

Вот видишь, говорил я себе, она тоже этого хочет.

Она тоже этого хочет: приподняться, провести красивой полной рукой по распушенным волосам и позвать тебя, но никогда не сделает этого, потому что боится, потому что она человек невольный, никогда не живший по своей воле и даже, скорее всего, никогда не желавший вволю, и если ты не поможешь ей, так оно всё и будет: жизнь по рельсам, рабство — высшая добродетель, а на эту ночь программа такая: вздохи до утра, потом тупой сон и безрадостное пробуждение — она не простит тебе, если ты не поможешь ей сегодня, сейчас, она никогда тебе не простит, так что хватит валяться, давай вставай.

Встань и иди.

Лежишь? Значит, ты не хочешь ее, иначе давно уже встал бы, подсел к ней на край дивана и тихо так, ласково, проникновенно позвал: гражданочка, а гражданочка . . .

м-да . . . — она сопела бы, притворясь спящей, потому что раба, потому что боится и стыдится себя самое, и тогда ты скользнул бы под одеяло, нахал, и почувствовал дрожь ее горячего, ее тоскующего по тебе тела, и тут только, когда уже есть контакт, когда спелые груди выскакивают, как зайчата, из чашек лифчика, и бедра намагниченно липнут друг к другу, тут только она изобразит запоздалое, лицемерное пробуждение . . . Нет, я серьезно хочу ее, я знаю, что хочу, у меня же все под рукой, но хочу не так, чтобы действовать, а так, чтобы действовала она, потому что у меня была Лиза, Лиза-электроЛиза, которую эта педагогиня отправила на воздержание в Новогрудок, а сама улеглась на ее место, и будь я проклят, если не разоблачу ее лицемерие до конца, до самого конца, до конца окончательного и конечного . . .

Вдруг я почувствовал, что на диване что-то переменялось — оттуда тек умоляющий, страстный шепот, неразборчивый шепот-призыв, я прислушался и разобрал в этом мерном, как прибой, шепоте одну-единственную, обжигающую слух фразу: МИЛЫЙ ИДИ КО МНЕ милый иди ко мне МИЛЫЙ ИДИ КО МНЕ милый иди ко мне . . . Невозможно было понять, наяву звучали слова или только в моих натруженных мозгах — я недоверчиво вглядывался в темноту, глаза уже свыклись с ней, и теперь, мне казалось, я угадывал очертания ее тела под одеялом, все эти горки, складки, развалы ее постели, белизна которой нежно и призрачно просачивалась сквозь тьму — и что-то непонятное, вроде струйки дыма, плавало в лиловом воздухе над диваном. Это была ее рука: гибкая, голая, танцующая рука Жени. МИЛЫЙ ИДИ КО МНЕ, милый иди ко мне МИЛЫЙ ИДИ КО МНЕ . . . Рука волновалась, как водоросль, манила и призывала, соблазняла чарующими пассажами, полными истоми, страсти, змеиною изысканностью; затаив дыхание, я следил за этим колдовским танцем, потом, ощущая себя маленькой загипнотизированной птичкой колибри, отвернул одеяло, встал и, пошатываясь, пошел к дивану . . .

Женя спала, до ушей накрывшись одеялом, шепот оказался ее ровным, легким дыханием, я тупо постоял над ней и побрел в туалет.

— Вот так-то, брат . . . — попрекнул я в туалете тупоголового своего приятеля, по милости которого вышел такой конфуз. Приятель скукожился и хмуро молчал. Тараканы, пригревшиеся на трубах, испуганно шевелили усам.

Мы справили маленькую нужду, потом я добрел до раскладушки и плюхнулся на нее с твердым — нет, вы не угадали — с твердым намерением предаться здоровому, полноценному сну. Бери пример с Жени, сказал я себе, сладко зевая, — и тут же, как эхо, на диване раздался вздох, Женя отбросила одеяло и прошлепала по моим следам в туалет.

Вернувшись, она преспокойно улеглась на диван, и я от досады и унижения чуть было не уснул окончательно. Опять ее дыхание переходило в шепот, опять ее яростный, страстный призыв влек каждую клеточку моего бессовестного организма туда, к дивану, но я не верил этому бреду, я засыпал. Молодая педагогиня, утомленная беготней по музеям и перронам, спит ангельским сном, положившись на порядочность одинокого молодого начштаба, и напрасно наш юный герой кувыркается на своем ложе, как блин на сковородке — так говорил диктор, и я поддакивал, в душе не веря, но время шло, и ровное дыхание Жени было убедительней моих аргументальных снов. Засыпая, я продолжал чутко вслушиваться в ее дыхание, и она, по-видимому, решила, что я уснул: там, на диване, началось какое-то движение, легкие шелестящие звуки чередовались с причмокиванием, а дыхание то учащалось, то прерывалось вовсе, потом перешло в громкие, страстные придыхания. Женя разошлась не на шутку, диван стонал под ней и пружинил, и мотало ее из стороны в сторону с такой силой, что я не без испуга следил за демоническим разгулом ее страстей. Потом она села и стала раскачиваться, как маятник, просунув под себя обе руки; я боялся пошевелиться, дабы не спугнуть ее

за этой прелестной девичьей игрой, однако во мне просыпалась совесть, я не мог хладнокровно следить за ее страданиями. Любишь ты, парень, на все готовенькое, попрекнул я себя напоследок; однако пора, твой выход. Я рванулся вперед, проснулся и озадаченно уставился в темноту: было тихо. Женя мирно посапывала; за окном по бульвару пронесся подгулявший автомобиль, и бешено колотилось мое вздорное сердце.

И опять я уснул, и почти тотчас Женя сползла с дивана, я тоже спелз, и мы поползли по ковру навстречу друг другу, следя, чтобы каждый прополз равное расстояние до другого, и мы по-звериному поглядывали и порывались друг на друга. Этот бред смысла реальная возня на диване: Женя сняла лифчик, сунула его под подушку и перевернулась на другой бок. Впрочем, я уже ничему не верил, тем более что на диване опять началось шевеление, только на этот раз работали в четыре руки — приглядевшись, я обнаружил на диване обеих сестричек, Женю и Лизу. Удивляться было бессмысленно. Славная эта парочка могла бы заняться акробатикой или синхронным плаванием, столько головокружных трюков привнесли сестрички в лесбийские игры, — любуясь их слаженностью, трудно было однозначно ответить, спорт эти или искусство. Мне снилось, что я лежу на раскладушке и притворяюсь спящим, в то время как девушки распалют друг дружку и с вожделением поглядывают в мою сторону; нет, ты слишком жесток с этими нежными, теплыми, розовыми созданиями, ты слишком долго испытываешь их терпение; должно быть, они подумали о том же — мысль у нас были общие, как вода в сообщающихся сосудах, — потому что замерли там, на диване, огорченные моей беспечностью, и одеяло, покрывавшее девушек, картинно сползло на пол . . . вдруг я отчетливо, с замиранием сердца понял, что шорох сползающего одеяла идет не из сна, а как бы со стороны, из реальной ночи — открыл глаза и увидел невероятное: Женино одеяло сползло на пол, а сама Женя, в одних трусиках, лежала передо мной во всей своей красе, как большой именный торт . . . Это очень походило на очередную бред или сон. Я понимал, что надо вставать, иначе она обидится и замерзнет, но тело мое словно вросло в несчастную раскладушку — нет, тут что-то было не так — я не мог сдвинуться с места; наконец сделал отчаянное, решительное усилие — и в очередной раз проснулся.

Часы показывали половину третьего. Я сел, прислонившись спиной к книжному шкафу, и глубоко задумался. Женя, судя по всему, спала. Для меня же, надо понимать, единственным шансом уснуть было нарваться на ее решительный, недвусмысленный, прямой и грубый отказ. Ну конечно, я так и знал, что все закончится этим. В нашем деле без умаления и унижения не обходится. Это днем она дура, а я начальник Генштаба, а сейчас она женщина, Гей, мать-земля, она будет лежать, раскинувшись на диване, и ждать, пока ты не начнешь суесться и припадать, да еще подумает, чего ей хочется, тебя или огурчиков с медом . . . Надо было решаться. Я сидел и решался.

— Ты не спишь? — вздохнув, спросила Женя.

— Не-ет, — ответил я недоверчиво.

— Думаешь?

— Думаю.

— О чем?

— О тебе. А ты почему не спишь?

(Женя вздыхает, потом садится на диване, прижимая одеяло к груди): — Поспишь тут . . . Стонешь, дергаешься . . . Я подумала, не заболел ли . . .

— Ах, Женя! — сказал я с горечью. — Должно быть, я действительно заболел, раз лежу и думаю о тебе. Потрогай мой лоб . . . — Я пересел на диван и склонился над Женей, она хотела потрогать мой лоб рукой, но я запротестовал:

— Нет, рукой не почувствуешь, надо губами, — и неожиданно для себя поцеловал ее в спекшиеся, заспанные губы. — Только так можно вылечить, — добавил я, целуя ее еще раз, и еще что-то бормотал, неразборчивое, но убедительное, надо понимать, потому что Женя вздохнула,

обвила мою шею полными, горячими руками, по сравнению с которыми я был холоден, как ледышка, и припала ко мне...

— МИЛЫЙ... — прошептала она. — МИЛЫЙ, ИДИ КО МНЕ...

6

И случилось так, что я оконфузился. Иначе говоря, потерпел блистательное поражение. Женя оказалась слишком томной для меня женщиной, ее спелая, горячая грудь оказалась невыносимо сладостной, и чрево ее было налито горячим медом — короче, только я вошел в нее, как тут же и вышел; допекли меня мои эротические сны. Громкие, томные стоны Жени раздирали мне слух — это был стон-мольба, это стенало и молило о помощи живое существо, которому я, к стыду своему, был бессилён помочь.

— Подожди, Женечка, — бормотал я. — Подожди, девочка. Все будет хорошо, но мне надо перевести дух. Потерпи, Женечка...

Женя, стеной, обратила ласку свою и страсть на возрождение моего мужества, и тут прозвенел звонок. Один, потом другой. Звонили в дверь. Со стоном отпрянув от меня, Женя лихорадочно, с каким-то испуганным подвыванием стала искать в развале постели трусики — я ошалело соображал, стоит ли открывать, и это ее дурацкое подвывание, по сути, решило дело.

— Послушай, Женя, возьми себя в руки. Неужели ты полагаешь... — Звонок опять затрещал. — Это кто-нибудь из приятелей. Сейчас я им дам от ворот поворот, а ты полежи спокойно. Не суетись.

Для верности я поцеловал ее, уложил, сам натянул трусы и пошел открывать. За дверью с чемоданами в ногах стояла Лиза. Увидев меня, она облегченно вздохнула.

— Привет из Новогрудка! — Я с отчаянным видом приложил палец к губам, и она закончила недоумевающим, затихающим шепотом: — Я боялась, что попала не в ту квартиру... Кто там?..

Я знаками показал, чтоб она молча шла за мной, подхватил чемодан и повел Лизу на кухню, закрывая за собой все двери и абсолютно не зная, что сказать Лизе и как, под каким соусом преподнести ей сестру.

— Как ты здесь оказалась? — прошептал я.

— Очень просто — вылезла на первой же станции, в какой-то, прости господи, Вязьме, потом на электричке приехала, а метро закрыто, денег на такси нет, потом один тип довез, я ему никак не могла объяснить, какое там у тебя кафе внизу, потом говорю... А кто там? Почему шепотом?

— Угадай, — сказал я.

Лиза посмотрела на меня недоверчиво, пожала плечами, потом усмехнулась, глядя мимо, и сказала:

— А что гадать: баба там.

— Не угадала, — сказал я, усаживаясь на табурет и усаживая Лизу рядом. — Там Женька.

Рот у Лизы открылся, она испуганно посмотрела на дверь.

— Женька?! — прошептала она. — Вот так влипли... А что же она — не уехала?

— Да вот как-то не получается у вас с отъездами. Билетов не было, пришлось взять на завтра. Но понимаешь, Лизанька, это еще не все. Как бы это сказать... Короче, я положил ее на диван, сам лег на раскладушку, а потом так все как-то перемешалось, что...

— Обалдеть, — помолчав, проговорила Лиза. — Ты что, трахнул мою сестру?

Я кивнул.

— Нет, не может быть, — сказала она. — Эту непорочную стерлядь? Ты ее бил, да? поил? стихи читал, да? Нет, ты поделись опытом, город-герой Минск тебя не забудет.

— Лиза, — сказал я, поворачивая ее личико к себе. — Лизанька. Ты же знаешь, что мне никого, кроме тебя, не нужно.

— Теперь знаю, — она хихикнула, причем как-то нехо-

рошо. — Обалдеть. Прямо Ромео и Джульетта. Стоит выскокить на пару часиков, как тут уже трахают твою сестру.

Мне давно не было так скверно и удрученно: папанка, мотылек, акробаточка, она полночи прыгала с поезда на поезд, чтобы в конце концов напороться на такое дерьмо, как я. И поделом тебе, говорил себе я. Поделом.

— Я спать хочу, — сказала Лиза. — Можно, я лягу на раскладушку?

Я сказал, что нельзя. Сказал, что она ляжет со мной. Лиза помотала головой и ответила, что она очень устала и хочет спать, если можно, одна, а если нельзя, то она пойдет на вокзал.

— Хорошо, — сказал я. — Ложись на раскладушке.

— Скажи Женьке, что пришла какая-нибудь твоя подружка, соври что-нибудь, хорошо? А утром познакомишь нас, — сказала Лиза, и глазки ее ожили, она даже чмокнула меня в щечку, провожая на дело. Я пошел в комнату, с горя чувствуя себя роботом, а не человеком, и лег рядом с Женей.

— Это ты? — Она схватила мою руку и прижала к груди; с четкостью автомата я зафиксировал, что форма номер один — лифчик и трусики — восстановлена. Таким образом, на всех фронтах наши войска откатывались к исходным позициям.

— Кто там пришел?

Я сказал, что пришла одна моя знакомая, она поссорилась с родителями и переночует на раскладушке. Женя опечаленно вздохнула. Вскоре вошла эта моя знакомая, скинула в темноте платье, улеглась на раскладушке и замерла. Женя, прикорнувшая у меня на груди, минут десять лежала спокойно, потом стала вжиматься в меня всем телом и наконец оседлала мое бедро — совсем стыд потеряла девушка; дрожь ее чресел способна была взволновать даже робота, и руки мои сами по себе, независимо от моей воли, помогли Жене избавиться от лифчика и трусиков. С приятелем моим, который был не только тупоголов, но и прямолинеен, у Жени завязалась очень такая нежная дружба. Они были достойны друг друга, подозрительно мирное посапывание на раскладушке их совсем не смущало; Женя, та вообще все больше походила на бронепоезд, на всех парах набирающий скорость. Приятель тоже был хорош. Сказать откровенно, мне все это дело было не по душе, душа моя лежала, если так можно выразиться, больше к раскладушке и даже НА раскладушке, я вяло сопротивлялся, отдавая, впрочем, себе отчет, что «нам бы день простоять да ночь продержаться» в данном случае не получается, потому что приятель мой и был тем самым Мальчишом-Плохишом, изнутри подрывавшим — и т. д.; Женя клекотала и постанывала, намерения ее определились как самые серьезные, так что наша любовная игра приняла несколько атлетический характер. В конце концов, выразительно кашляя, я гудел и уложил Женю на обе лопатки. Стоял же был гул и сочен и полностью покрыл скрип раскладушки — я не успел отпрянуть, как Лиза, бесенок эдакий, навалилась на меня сверху, прохрипела «ну, погоди!», потом укусила за ухо пребольно, оторвала от Жени и увлекла на себя.

Женя с визгом отпрянула к стене.

— Она что, с ума сошла? — воскликнула она негодуя, но отвечать было некому: лежа на Лизе, я боролся с приступом идиотского радостного хохота, а Лиза сосредоточенно пыталась меня насильничать и раздосадованно колошматила по моей спине кулачками.

— Нет, это же... — вдруг озлилась Женя и со стоном бросилась в атаку на мою наглуемую подругу. — А ну пошла, пошла, тебе говорят! — шипела она, раскачивая нашу маленькую пирамиду. — Вон отсюда, бесстыжая! А ты что там делаешь?.. Господи, да что же это такое?!

Я покорно сполз на пол, где хохотать было удобней, но Лиза ожесточенно отстаивала свои рубежи — какое-то время слышалась только возня с пыhtением и постаныванием, затем выстрелили три быстрые жирные пощечины, Женя взвилась, перемахнула через меня и с плачем заметалась по комнате, наконец нащупала на стене выключатель и включила свет.

— Ап! — воскликнула Лиза, вскидывая ручки, как трюкач в цирке. — Здравствуй, Женечка!

Женя, задохнувшись, схватилась за голову и присела.

— Ты... — простонала она. — Лизка!!!

Момент, надо сказать, был из тех, когда присутствующие снимают шляпы. К сожалению, ничего подобного ни у кого из нас при себе не было.

— Дай я обниму тебя, Женечка, в этом доме скорби, — пропела Лиза (она, надо сказать, прямо-таки цвела).

— Лизка, сволочь... — начала было Женя, которую явление родной сестры как-то даже успокоило поначалу, но вдруг она коротко простонала от обиды и унижения и, заметавшись, лихорадочно стала собирать одежду, все комкая и прижимая к груди, подвывая и заметно опасаясь приближаться к дивану, где оставалась немаловажная часть ее туалета и где свила себе гнездышко ее подколodная младшенькая сестрица.

— Какие гомерические страсти, какие венерические формы — ты ли это, Женечка? — Что же ты не читаешь мне мораль, сестра, или тебе без трусиков несподручно?

— Не смей! Не смей, дрян! — искажаясь в лице, завопила Женя, прикрываясь скомканным платьем и подступая к дивану.

— А не дам, — сказала Лиза, быстро пряча под себя ее трусики, и тут Женя остервенело ринулась на нее, обе завизжали, ключьями полетела шерсть, я бросился разнимать, и в меня, как мне показалось, моментально впились сорок остреньких коготков и не менее шестидесяти четырех отточенных клычков, я сам заорал и еле выдрался из этой мясорубки, а потом и Лиза, победно размахивая чужими трусиками, перепорхнула с дивана на раскладушку. Женя, сдавшись, прикрылась одеялом и разрыдалась.

Мне как-то неловко стало голым стоять посередине комнаты, я нашел на диване свои трусы и натянул их под насмешливым взглядом Лизы.

— И как тебе моя Женечка? Не разочаровала, надеюсь?

— Отнюдь, — сказал я, пересаживаясь на раскладушку.

— Вот и прекрасно, — вспыхнув, сказала Лиза. — Ей-богу, на это дело не жаль одного любовника.

— Да будет тебе, — сказал я. — По-моему, я уже искупил свою вину кровью, — я показал ей одну и другую, несколько царапин.

— Так тебе и надо, — сказала Лиза, подышала на одну из них, под правым соском, и поцеловала, а Женя, бедная, так и рыдала, пока мы зализывали друг другу раны.

— Послушай, так не годится, — сказал я Лизе, и мы перебрались на диван к Жене.

— Да будет тебе, Женька! — заунывно, как на панихиде, начала Лиза. — Женька, брось ты это мокрое дело!

Женя взревела, как алеутский сивуч.

— Нет, ну что это такое, а?.. Женька, прекрати! Рыдать в тот самый момент, когда у меня появилась сестра с человеческим лицом... Женечка, я тебя очень люблю, честное слово!

Женя страшно рыдала. Мы с Лизой по очереди припадали к ней, гладили и успокаивали, иногда скептически переглядывались, потому что имели представление о Женяных возможностях.

— Не плачь, Женечка! — уговаривала Лиза. — Не плачь, миленькая, я никогда так больше не буду!.. (Услышав это, Женя зарыдала с возмущением.) Хочешь, я уйду, а? насовсем уйду, на вокзал! — при этом Лиза поглядывала на меня с хитрецей. — Я уйду, Женечка, ты только не плачь, хорошо?

— Я сама уйду-у-у... — рыдала безутешная Женя. — Ноги моей здесь не будет!.. Это ты, ты все подстроила, Лизка, это подло, подло, бесчеловечно! Да, я низкая, я развратная, но я никогда не лезла в постель к твоим мальчикам, и... Это жестоко, это...

Слава богу, подумал я. Прорезалось. Сестрицы ожесточенно заговорили, а я сходил на кухню, поставил чай, потом сел на диван рядом с голенькой Лизой, которую Женя тотчас прикрыла от моих глаз одеялом; в остальном, по-моему, про меня забыли, и я тоже залез под одеяло

со своего конца. Теперь мы все трое сидели на диване, как в одной лодке.

— Ты растрочишь себя направо и налево, для тебя это как семечки грызть, и ты истаскаешься еще до того, как придет настоящее чувство! — взхлеб проповедовала Женя. — Ты думаешь, я завидую тебе? Да я жалею тебя, да-да, именно жалею, хотя ты смелей меня, нахальней, моложе, все равно настоящего счастья у тебя не будет, ты его уже промотала, представь себе!..

Лиза смиренно отвечала в том смысле, что все это так и гореть ей синим пламенем, а вот Женя рождена для счастья, как птица для полета, на что Женя отвечала, что не надо иронизировать, но действительно, и пусть она тоже оказалась развратной (но не такой, как Лизочка, не такой!), пусть она толстовата для нынешних худосочных мод и парней, и все равно она внутренне моложе, красивей и богаче Лизы, потому что у нее есть внутренний мир, идеалы и ценности, каковых, естественно, нет у Лизы и у меня.

— Это ты толстовата? — возмутилась Лиза, с великолепным женским чутьем извлекая из всей этой белиберды рациональное зерно. — Ты толстовата? Да ты встань, ты взгляни на себя!

Она рывком сорвала одеяло, Женя задергалась, но я вовремя встрял, мы с Лизой подхватили и посадили Женю, великолепную женщину, прекрасную, вон какие бедра, — что до меня, то я искренне рад был познакомиться с ней поближе, я так и сказал — Женя, разволновавшись, отмахивалась, дергалась за одеялом и говорила, что мы с Лизой развратные и ужасные, но тут я по-джентльменски поцеловал Женю в грудь, тяжелую, как гроздь винограда, в спину мне впились острые Лизины коготки, и мы с Лизой улыбались Жене, хотя мне, честно говоря, было не до улыбок.

Потом мы сидели на диване, обложившись чайными приборами, и то и дело принимались хохотать, как сумасшедшие, поливая себя и диван остывшим чаем. Наступило время необыкновенной легкости, какая случается порой, если претерпеть дикое напряжение, и все были ужасно рады чему-то, хотя и непонятно, чему. Чему, например, могла радоваться Женя, слушая историю нашего с Лизой знакомства и двух сговоров против нее — одного на вокзале, другого на кухне? — бог ее знает, однако же она смеялась взхлеб. Смеялась и Лиза, когда я чистосердечно каялся и описывал свои ночные кошмары; с Женей от смеха чуть не сделалась истерика. Вообще, мне кажется, вся эта история подействовала на нее благотворно. Мы сидели, охваченные чувственной, легкой, радостной близостью, и три пары наших ног мирно соприкасались под одеялом. И я сказал, что физическая близость между мужчиной и женщиной должна, по идее, рассматриваться прежде всего как одно из основных средств достижения близости духовной, как преодоление всех этих физических оболочек, замыкающих человека в себе, как внедрение и слияние друг с другом — во имя духовной близости. Женя поддержала меня с восторгом в голосе, но Лиза — ее умение во всем доходить до сути удивило меня еще раз — иронически усмехнулась и сказала:

— Держись, Женька, сейчас этот хват предложит нам спать втроем.

— Ну нет, — Женя осеклась и торопливо добавила: — Вы как хотите, а я буду спать на раскладушке.

— А мы так и хотим, — вежливо заметила Лиза, и всем стало грустно. Я добавил, что Женя, кажется, осталась единственной, кто не пробовал спать этой ночью на раскладушке, и это слегка разрядило атмосферу, но только слегка. Женя улеглась на раскладушке, и вид у нее был обиженный, честное слово. Я выключил свет — за окном было уже совсем светло — и мы с Лизой долго шептались под одеялом, Лиза рассказывала всякие истории о себе, потому что пора было нам познакомиться друг с другом поближе. Женя ворочалась на раскладушке. Пару раз я предлагал Лизе позвать ее к нам, на что Лиза резонно отвечала, что не стоит, пожалуй, потому что духовной близости с Женей у меня все равно не будет.

АНДРИС РУБЕНИС

ЛЮБОВЬ— ТЕМА ДЛЯ ФИЛОСОФСКОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ



В этике с понятием любовь связаны интимные и глубокие чувства, особый вид сознания, душевного состояния и действий, которые направлены на другого человека, общество, идею и т. п. Сложность и важность понятия любовь продиктованы тем, что в ней сфокусированы в органическом соединении физиологическое и духовное, индивидуальное и социальное, личное и общечеловеческое, понятное и необъяснимое, интимное и общепринятое. Нет такого развитого общества и нет такого человека, кто не был с ней знаком хотя бы в малой мере. Более того, без любви не может сформироваться моральный облик человека, не происходит нормального развития. Это признается и познается каждым, даже не находящимся в состоянии любви. Она может быть в разной степени развита, но ее не может не быть, в противном случае не было бы человека. Так же как

слепой знает что-то о свете, глухой — о звуках, так и человек — о любви. «То, что ты не любишь, — писал Л. Н. Толстой, — не означает, что в тебе нет любви, а только то, что в тебе есть нечто, мешающее любить. < . . . > Твоя душа полна любви, но она не может открыться, ибо твои грехи не дают ей этого. Освободи душу от того, что ее очерняет . . .»¹

Попробуем в самом общем виде показать те наиболее значимые и существенные характеристики любви, которым философы всех времен и народов посвятили столько внимания благодаря тому месту, которое занимает любовь в человеческом обществе. Не понимая любви, невозможно понять и самого человека.

Страсть любить, отмечает в своей известной работе «Искусство любить» американский социолог Э. Фромм, это самое существенное проявление человеческих положительных, жизне-

утверждающих влечений. «Любовь — единственный удовлетворительный ответ на вопрос о проблеме существования человека».² Однако, продолжает он, большая часть людей не способна развить ее до адекватного уровня возмужания, самопознания и решимости. Любовь вообще — это искусство, требующее опыта и умения концентрироваться, интуиции и понимания, словом, его надо постигать. Причиной того, что многие не признают этой необходимости, являются, по мнению Фромма, следующие обстоятельства: 1) большая часть людей смотрит на любовь с позиции «как быть любимым», но не «как любить», не с позиций возможностей любви; 2) представление, что проблема в самой любви, а не в способности любить; 3) смешиваются понятия «влюбленность» и «состояние любви», в результате чего доминирует представление о том, что нет ничего

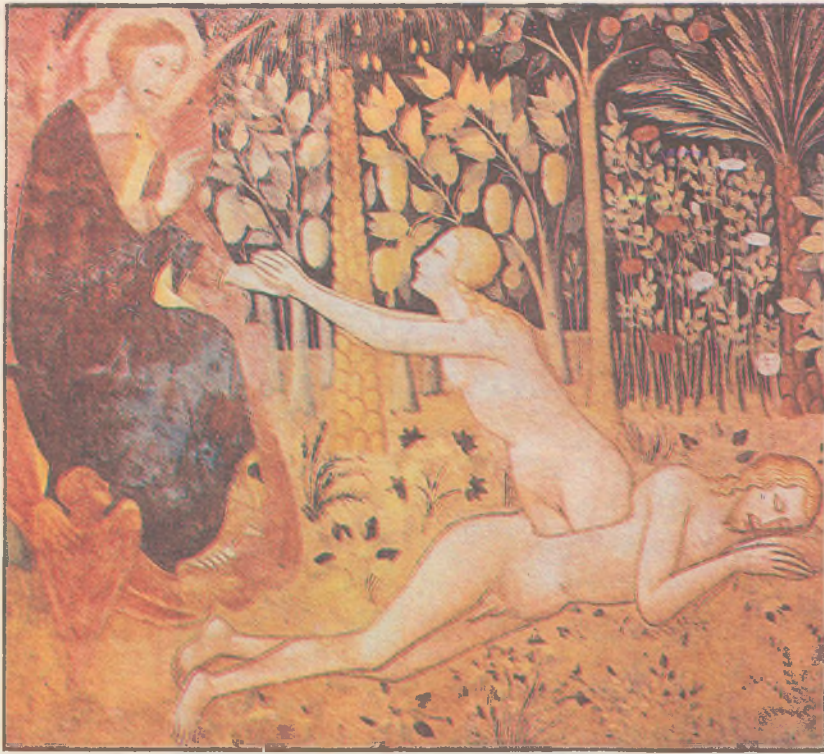
ПОЛ МОРТОН. ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ, НЕ УБИВАТЬ. 1988

MAKE LOVE



NOT WAR

AVOVS



начает связь индивидов, обусловленную социальным или личным выбором. Это внутренняя склонность, влечение, выросшее из интимной близости и общения с конкретным лицом. Эта любовь затрагивает отношения близких друг другу людей, она обычно удовлетворена присутствием любимого и развитием естественных чувств. Это чувства, появившиеся без особого усилия, в процессе личного общения, их ценность в том, что они необходимы человеку как чему-то целому, а не как отдельным его особенностям. «Любовь-дружба» — это влечение к самому предмету любви, выросшее из совместной жизни, взаимной общности взглядов на многие вещи. Основное душевное состояние здесь — «духовный покой», внутренняя близость, взаимопонимание, что, однако, не означает холодную расчетливость или слепую импульсивную страсть. Таким образом, «philia» означает духовную, открытую, основанную на внутренней симпатии любовь, выражает соединение подобных (тогда как эрос — борьба и соединение противоположных) принципов.

Слово «storge» означает любовь, которая связана с органическими родовыми связями, нерушимыми, не поддающимися отмене (особенно семейные связи). Это нежная, уверенная, надежная любовь, которая устанавливается между родителями и детьми, мужем и женой, гражданами и отечеством. В такой любви человек находит покой и доверие, чувство уверенности. Этот термин выражает чувства не отдельной личности, а чувство родовой общности, без которого греки не представляли своего существования.

Термин «agapē» у греков означал разумную любовь, возникающую на основе оценки какой-либо особенности любимого, его черт характера и т. п. Ее человек может разумно обосновать, ведь она основана на убеждении, а не на спонтанных чувствах, привычках, стихийно. Этот аспект любви исторически связан с адекватной оценкой другой личности (оценивать правильно, не переоценивая), что лежит в основе взаимоотношения; в ней чем больше понимания, тем меньше места чувствам. «Agapē» — любовь, укрепляемая деятельностью разума, поэтому она абстрактна, безличностна более, чем другие формы любви. Это воля, направляемая разумом.

В средние века христианство трактовало любовь как высший принцип нравственности, наиболее глубоко раскрывающий человеческую сущность. Под любовью понималась некая внутренняя сила человека, которая никогда не иссякала, а беспрестанно, без усталости распространялась на все действия человека, направляя его к благоденствию.

легче любви, в то время когда на практике это совсем иначе. Чтобы преодолеть это состояние, надо осознать, что любовь — это искусство, равно как человеческая жизнь вообще, что его необходимо постичь. Прежде всего надо понять, что любовь нельзя сводить только на отношения между противоположными полами, мужчиной и женщиной.³ Любовью отмечена вся человеческая деятельность во всех ее проявлениях (любовь к труду, родине, удовольствиям и т. п.), более того, — может быть побудительницей этой деятельности, ее стимулом, источником энергии. «Любовь становится более плодотворной от наших внутренних переживаний, — пишет Х. Ортега-и-Гассета, — она рождается во многих движениях души: желания, мысли, стремления, действия; но все то, что прорастает из любви, как урожай из семян, еще не сама любовь; любовь — это условие, чтобы названные

движения души проявились».⁴ Поэтому в каждую эпоху выделялись разные виды и аспекты любви, делались попытки систематизировать формы ее проявления, расположив по мере значимости и смыслу.

Для выражения различных аспектов и оттенков любви древние греки, например, использовали различные термины. Словом «эрос» они обозначали чувства, направляемые на предмет с целью полностью его вобрать в себя. Этот термин выражает любовь-страсть, ревность и чувственное влечение и связан с его пафосом, аффективной, чувственной стороной. Эрот выражает царящую в природе полярность и непреодолимую тягу к ее преодолению. Эрот — страстная самоотдача, восторженная любовь, смотрящая на свой «предмет» словно бы «снизу вверх», не оставляющая в себе места жалости и сочувствию.

Слово «philia» (обычно переводится как «любовь-дружба»)⁵ обоз-

Христианский мыслитель Аурелий Августин, например, выделял три формы любви — любовь человека к Богу, любовь к ближнему и любовь Бога к человеку.

Первая (*amor Dei*) выражается как стремление человека к совершенству на пути к Богу и связана с его сущностью, природой, дающей возможность думать, решать. Она начинается как желание любить Бога, однако без нужной ясности о предмете любви. Поэтому сначала надо найти истинный предмет любви и путь к нему, что внесет беспокойство в сердце, поставит вопрос (*Questio amoris*). В результате исканий человека надо достичь правильного направления любви, и, конечно, к Богу (*caritas*), а не к вселенной (*cupiditas*). Истинная — первая, ибо человек любит все во имя Бога, любит самое любовь к Богу; вторая — ложна, ибо направлена на преходящее, тленное (*carnalis cupiditas*). Важно не потерять правильного направления, меры (самый большой грех — самолюбие, выражающееся в высокомерии, заносчивости).

Истинная любовь, говорит Августин, может быть только к Богу, ибо любимо непреходящее, вечное. Любя Бога, не согрешишь («люби и делай то, что хочешь»), именно так можно преодолеть властвующие в этом мире страх, заботы, потери, смерть. Человеку необходимо не только знать, что Бог — высшее благо, но прежде всего любить его. Это означает, по мысли Августина, что вся любовь к людям, вещам в этом мире истинна только тогда, когда она во имя Бога, а не во имя человека. Он высказывается парадоксально: самолюбие человеку необходимо, но оно принимается с тем условием, что больше себя любящий Бога. Кто любит Бога, тот любит и себя.

Любовь к ближнему — вторая форма, принятая в христианстве. Она возможна потому, что «ближний» — это подобие Бога. Она объединяет естественно и без исключения всех людей в единое целое (см. о смысле ее далее). Третья — любовь Бога к созданию (*Deus est caritas*). Бог не только любит, он сам есть любовь, таинство которой заключено в учении о триединстве. В таком аспекте любовь в своей изначальной глубине непостижима и недоступна человеку. Но любовь Бога прорывается наружу как творение и избавление человека от грехов. Бог не только создает вселенную в первом акте своей любви, но и реставрирует мир «падших», восстанавливает в нем правящий порядок.

Арнольд Хейнлинка в своем вышедшем в 1665 году труде «Любовь» (*Amor*) разделяет ее на два подвида — чувственная (*amor dilectionis*) и действенная любовь (*amor affectionis*).



ПЬЕТА. ок. 1420, СРЕДНИЙ РЕЙН.

Чувственная любовь еще не сама нравственность, а награда за нее (можно принимать, можно не принимать ее). Она выражается как телесная и чувственная любовь (*amor sensibilibus sen corporalibus*), т. е. страсть и желание (так же душа связана с телом); сама по себе она не плоха и не хороша; и так же как абстрактная любовь (*amor spiritualis*) — подтверждение того, что наши действия находятся в зависимости от разума и высшего закона нравственности (люди, однако, этого не ценят).

Действенная любовь как целенаправленное, твердое желание к действию выражается в трех формах. Первая — любовь-уважение (*amor obedientiae*) — формирует нравственность как готовность действовать по велению разума. Вторая — любовь-доброжелательность (*amor benevolentiae*) — не может быть преступной, плохой, ибо является одной из черт Бога. Третья — любовь-стремление, склонность (*amor concupiscentiae*) — характеризует дея-

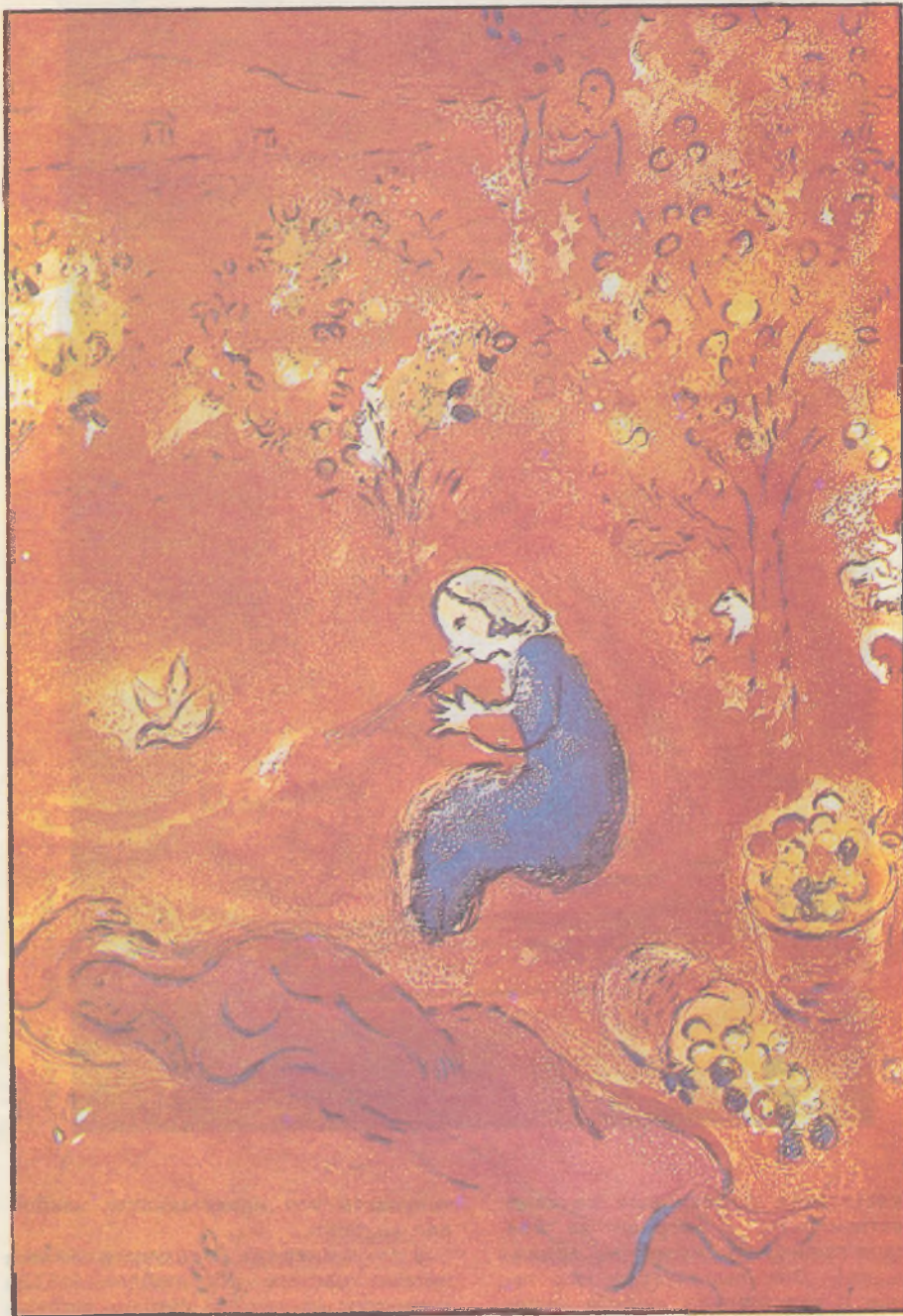
тельность как нравственную наиболее глубоко.

В свою очередь Стендаль в знаменитом трактате «О любви» (1822) указывает на четыре формы любви: любовь-страсть, любовь-желание, физическая любовь и любовь-честолюбие.

Разумеется, можно найти и другие варианты классификации видов любви, но ясно одно — всегда надо иметь в виду много-, неоднозначность этого феномена.

Существует множество форм и путей выражения любви, но наиболее важен вопрос, во все времена занимавший умы мыслителей, о ее первоисточнике (зарождении).

В древнем обществе, когда представления о личности (ее ценности, самостоятельности, независимости) находились в зачаточном состоянии и индивид был растворен в коллективе как в едином целом, где его действия и побуждения были подчинены интересам коллектива, соответственно понималась и любовь. Мифология как мировоззрение древних



МАРК ШАГАЛ. ДАФНИС И ХЛОЯ. 1961

рассматривает любовь не столько как факт личной жизни, сколько как универсальный космический процесс, в котором человек только участвует, но не играет ведущую роль. В этом смысле решались и две основных темы: с одной стороны, вопрос о единстве человечества и вселенной, с другой — понятие о властвующей в нем поляризации (где центром является оппозиция мужского и женского). Важный для человечества вопрос, получивший и мифологическую интерпретацию, был (и актуален он для любой культуры): как возможен тот факт, что единое само по себе человечество «выражено» в двух полах, в двух организациях тел —

в мужчинах и женщинах! Где тот объединяющий момент, который преодолевает физиологическое отличие полов, их отчужденность? Человечество, подчеркивается во многих древних памятниках, несмотря на физиологические отличия, в своей сущности едино. Об этом свидетельствуют мифы об изначально едином, здоровом, неделимом существовании людей.⁶

В диалоге Платона «Пир» Аристотель излагает миф о первобытных людях: «Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как ныне, — мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки обоих; сам он

исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, — андрогини, и из него видно, что они сочетали в себе вид и наименование обоих полов — мужского и женского. Кроме того, тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две (круг и цифра «четыре» — обычно символ целого.⁷ — А. Р.) Они обладали могучей силой, не боялись противостоять даже богам, они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов. Зевс и другие боги стали совещаться, как поступить с ними. Тогда Зевс после долгих размышлений воскликнул: «Мне кажется, что я нашел средство, как сохранить людей и покончить с их непорядочностью: их надо ослабить, разделив каждого пополам». Сказав так, он разрезал людей на половины, как на половины разрезает яйцо. С тех времен у людей зародилась любовь друг к другу, старающаяся возродить их прежнюю природу, из двух сотворить опять одно и излечить содеянное зло».⁸

Подобный миф мы находим и в Ветхом Завете: «И Господь Бог сотворил человека из земли и вдохнул через его ноздри животворную силу; так человек стал живым существом. Тогда Господь Бог велел глубокому сну снизойти к человеку. И, когда он заснул, Он вынул одно из его ребер и заполнил это место плотью. Это ребро, вынутое из человека, Господь Бог превратил в женщину и велел ей идти к человеку. Она воистину кость от моей кости и плоть от моей плоти! И называться ей мужней женой, потому что от мужа взята. И впредь муж да оставит мать с отцом да привяжется к своей жене, и станут они единой плотью».⁹ Таким образом, сам Адам изначально сотворен как «мужчина и женщина», и только потом Ева была извлечена из его тела, частью которого она была до того.

Тема бисексуализма и смены полов имела большое значение во многих древних религиях и ритуалах. У австралийцев, например, ритуал посвящения мальчиков предусматривает его «превращение» в женщину. У многих африканских народов иницируемого мальчика переодевают в женскую одежду (некоторых иницируемых девушек — в одежду юношей). У иных народов мальчиков обнажают, чтобы подчеркнуть асексуальность иницируемого: прежде чем человек приобретает пол, он должен пройти фазу, в которой он якобы принадлежит обоим полам. Символическая инверсия, переодевание мальчиков девочками и, наоборот, девочек мальчиками, вообще характерна для древних народов всего света.

Эта тема изначального единства человека актуальна и для более поздних эпох, в том числе и для европейского гуманизма, который по-новому выдвинул эту проблему. Ф. Шлегель писал: «Что может быть более отталкивающим, чем преувеличенная женственность, что может быть противнее, чем преувеличенная мужественность, — однако это доминирует в наших законах, в наших мнениях, даже в лучших наших произведениях искусства. Отличия полов ни в коем случае не надо преувеличивать, а наоборот, надо их смягчать с помощью большого противовеса. Только нежная мужественность, только независимая женственность являются истинно настоящими и красивыми. На самом деле мужественность и женственность, как их обычно понимают, — это опасные препятствия».¹⁰ В искусстве этот идеал был выражен в образе Христа, который изображен уже не «мужчиной», но «человеком», в котором черты человечности (например, нежность) можно назвать «женственными». Секуляризация этих особенностей, как указывал К. Г. Юнг, это искусство Леонардо да Винчи: его Иоанн Креститель и Джоконда — по существу один и тот же образ; не образ того или другого пола, а личность свободного человека, полная ясности и покоя, противопоставляющая себя познаваемому миру.

Мир — един, един и человек. Однако каждая на свете вещь имеет свое место, они абсолютно не схожи, относительно разделены. Относительно разделены, отчуждены и оба пола, прежде всего благодаря своим телесным отличиям; каждый из них имеет свое назначение, свое особенное место в социальной иерархии. Ксенофонт объяснял это так: «Бог с самого начала природу обоих полов приспособил по-своему: женскую природу — для домашних работ и забот, а мужскую природу — для внешних. Тело и душу мужчины он сформировал такими, чтобы человек мог лучше перенести холод и жару, путешествия и военные походы, и поэтому он назначил ему работать вне дома. А женское тело он сделал менее способным и поэтому, как мне кажется, доверил ей домашние заботы».¹¹

Мир пронизывают полярные противоречия, самые устойчивые среди них — мужественность / женственность (соответствуют оппозиции: верх/низ, правая сторона/левая сторона, небо/земля, четное/нечетное число и т. д.). Объединение мужчины и женщины — это тот же самый космический брак между Небом и Землей во время грозы (тучи, например, считаются яйцеклетками земли, а дождь — оплодотворяющая сперма неба). Во многих древних религиях Луну, землю и воду воспри-



МАКС ШВАБИНСКИЙ. СЛИЯНИЕ ДУШ. 1896

нимали как женское начало, а Солнце, огонь и тепло — как мужское. Мужское выражает активность, волю, символизирует энергетическое начало, форму; женское — пассивность, послушание, материю; мужское — дающее, женское — принимающее.

Такое понимание характерно почти всем учениям древности.

Но есть исключения, в которых эти отношения трактуются противоположно. В тантризме [древнее религиозное учение в Индии] активным считается женское начало, пассивным — мужское. Мужеподобное оценивается как недифференцированный абсолют, пробудить который может энергия, идущая от женщины. Творче-

ское начало вовсе не мужчина, а женщина. Поэтому в тантризме огромная роль принадлежит сексу (предусмотрены еще медитация, йога и жертвоприношение), которые символически воспроизводят процесс сотворения мира, его происхождения. В сексуальном акте человек словно бы возвращается к первоисточнику мира, общается к его энергетическому потенциалу. Слияние — символ непрерывающегося созидания, ибо существование мира — это непрерывное рождение, обеспечиваемое оплодотворением мужским семенем женского начала. Женские половые органы — это «пасть чудовища», выплевывающего мир. Мужское семя, в свою



ГЕНРИ МУР. СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ. 1949

очередь, награждает возможностью существовать, быть всей мировой системе.

В тантризме главная роль принадлежит богине времени Кали, которая непрерывно творит все окружающее через нас и для нас. Эта женщина открывается, показывает через каждую женщину — носительницу божественной энергии. Мужчина может наполнить себя только посредством женщины. Каждый акт любви между мужчиной и женщиной — это тень космического процесса, и чем он ярче, полнее исполнен, тем больше человек приближается к прообразу Бога.

Однако процесс сотворения имеет

теньевую сторону, и естественно: когда богиня производит мужчину и мир во времени, она отдаляется от него. Поэтому Кали одновременно разрушительница, уничтожающая богиня. Болезни, войны (все, связанное с убийством, калечением человека) — неотвратимые результаты ее деятельности. Эта богиня может быть ужасна, но из-за этого она не менее любима.

Тантра — это культ экстаза, сконцентрированный на сексуальности всего окружающего, его видении, наблюдении. В ней человеческое тело приравнивается к космосу. Сам космос — это поток энергии, порядок, структуру ему придает тело как система. Тантризм указывает, что

космический разум и разум человека, так же как и космическое тело и тело человека, в своей сущности не отличаются. В этом учении появляются карты механизма потока энергии, описывающие процесс, в ходе которого создающий импульс равномерно разделяется между телами человека и мира.

Человеку необходимо психоматическое усилие (медитация, йога), чтобы, развивая в себе возможность тела, приблизить его к образцу космического тела. В конце этого процесса человек начинает походить на изначальное двуполое божество, занимающееся собой в счастливом сексуальном акте. Человеку надо приблизиться к космической благодати, являющейся одновременно всеохватывающей любовью, сексуальной и материнской (сына и матери), социальной, организующей и деструктивной.

Такова мифологическая версия любви, которая еще не знает любовь как глубокие и интимные чувства, переживания. Такой любовь становится одновременно с развитием личности на определенной ступени исторического развития, одновременно с открытием «Я». ¹³ Каковы специфические черты любви в смысле личной жизни и как понять ее роль в жизни человека?

В процессе формирования личности человек впервые осознает свою конечность, ограниченность своего существования и т. п., то, что он — ограниченное, имеющее конец существо и одновременно в нем зарождается законное стремление это преодолеть. Любовь — это тоже одна из форм выражения этого стремления на пути к совершенству (противоположность несовершенству), абсолюту (противоположность относительному), вечности (противоположность преходящему). Не зря сама философия понимается как «любовь к мудрости» (от слов «philia» и «sofia»), чем подчеркивается, с одной стороны, тот факт, что человек бесконечно далек от истины (близки ей совершенные, бессмертные боги, те живут в соответствии с истиной), может ее только любить, но, с другой — что именно в этом процессе его отличие от других живых существ (которые ни к чему не стремятся, живут в соответствии со своими биологическими детерминантами), его сущность. Любовь в этом смысле как экзистенциальный акт («стасис» — положение, «экс» — вне) призвана преодолеть природные физиологические рамки, индуцировать его вечное стремление к этому недостижимому совершенству (также и в нравственном значении). «Любовник, — пишет Ортега-и-Гассет, — выходя из своего Я, приближается к объекту и в конце концов сливается с ним. Любовь — это, быть может, высшая попытка

природы вывести индивида из его узких рамок и приблизить к другому. В желаниии я стремлюсь привлечь к себе предмет, в любви я сам привлекаемый».¹⁴

Этот аспект любви очень хорошо понимал Платон, который трактовал его как божественную силу, помогающую человеку преодолеть его несовершенство, помощницу ему на пути к вечной красоте, нравственности, выражающую вечную необходимость своего совершенствования. Направляя человека к чистому полету в «возвышенное», в вечность, пробудил душу Эрот, он воодушевил человека к стремлению к непреходящей и абсолютной истине, служившей грекам эталоном высшей нравственности, целью морали.

Эрот, разъясняет Платон, — сын бога Пора и Нищеты, они и определили его натуру. «Прежде всего, он всегда беден и совсем не нежен и не красив. Спит он неприкрытым на голой земле, у дверей под открытым небом, вечно в страшной нищете, как и полагается сыну Нищеты, но, будучи и сыном своего отца, он хитростью завоевывает себе хорошее и прекрасное, он храбр и энергичен, всегда готов к борьбе, всю жизнь он отдается философии. Он и смертен и бессмертен. Все, чем он обогащается, опять теряет, и так он никогда не беден, но и никогда не богат. Он на середине между мудростью и глупостью».¹⁵ «Человек, которого воодушевил Эрот (любовь), страстно будет стремиться к мудрости и в конце пути увидит волшебную красоту в самом себе, — что есть вечно, то не появляется и не пропадает, то не становится не больше и не меньше, то везде одинаково красиво, то для всех одинаково красиво».¹⁶

Концепция любви у Платона была первой попыткой фиксировать сущность «чистой» любви, понять и осмыслить то, что отличает эту сторону человеческой жизни от физиологического инстинкта, чувственного удовлетворения. Теория Платона имеет концептуальную природу, и действительно: она для нас — абсолютом, точка отсчета, мера, сверяясь с которой мы можем открыть, понять, насколько наши порывы связаны с чувствительностью, физиологией, и насколько — с истинно человеческим элементом, понять то, что отличает нас от влечений, правящих в остальном мире. Древнегреческий философ по существу проделал такую теоретическую работу, которую выдают за идеализацию: теоретически констатировал то, чего в природе в чистом виде не существует, чтобы понять происходящие в природе процессы (например, такие абстракции, как идеальный газ, идеально твердое тело, абсолютный нуль и т. д. — этого в природе нет, но с помощью этих понятий мы глубже понимаем приро-

ду). Чистая, платоническая любовь — мера нравственности человечности, такая мера, которую человек открыл на новых взлетах своего существования, усложняя свою духовную жизнь.

Половой инстинкт отличается от любви тем, что он соответствует нашей психофизиологической организации, зависит от нашей чувственности, интенсивности — от степени насыщения. Половой инстинкт легко удовлетворить, и его монотонное повторение вызывает лишь утомление. Ортега-и-Гассет думает, что «отличие ярче проявляется в экстремальных случаях, когда из-за морализаторских или других причин надо отказаться от выражения полового влечения, или когда избыток полового влечения превращается в извращение. В обоих случаях, в отличие от любви, чистое сладострастие идет впереди своего объекта. В этом случае человек чувствует влечение, еще не зная ситуации или человека, который его может удовлетворить. Последствия такой постановки таковы, что это влечение может удовлетворить любой человек. Инстинкт, пока он инстинкт, не выбирает. Он не скрывает в себе влечения к насыщению».¹⁷

Любовь, наоборот, — другая сторона человеческой жизни, она не сводится к удовлетворению наших чувствований, так как вызывает не чувство утомления и пресыщения, а радость, восторг бесконечным обновлением. Любовь предусматривает заинтересованность в повторении этого бесконечного процесса, его необходимость. Она, как и человек, открыта для бесконечности и по своей сути антипрагматична. Наслаждение — антипод любви, и не потому, что оно не может сопровождать любовь, а потому, что их сущность отличается (например, объект любви может постареть, любовь — нет, она неподвластна времени).

Любовь преодолевает не только ограниченность человека на пути к совершенству, истине, но и делает его понятнее другому человеку, выносит одного индивида из его физиологической скорлупы другому, преодолевая их отчуждение. «... Она связывает любящих, она создает такое соприкосновение и близость, которое сильнее осязаемого, это жизненная двуединость. Любящий онтологически близок любимому, его судьбе, какой бы она ни была».¹⁸

Фромм понимает значение любви как страсти, преодолевающей отчуждение между людьми, порожденное чувством стыда, вины или волнения. «Без любви человек не мог бы присутствовать ни дня».¹⁹

«Возмужавшая любовь — условие, при котором сохраняется целостность, единство, индивидуальность каждого. Любовь — это активная сила человека, это сила, пробивающая

стены, отделяющая одного человека от другого, объединяющая его с другими: любовь помогает ему преодолеть чувство изоляции и одиночества, одновременно он может остаться самим собой, сохранить свою индивидуальность. В любви реализуется парадокс — два существа становятся одним, и одновременно их двое».²⁰ Любовь, продолжает Фромм, не пассивное, а активное действие, «состояние, в котором любящие», но вовсе не влюбленность. Она связана с отдачей, а не с восприятием. Однако надо иметь в виду, что одна из самых распространенных ошибок считать, что отдача — это значит отказ от чего-то, жертва. Эта позиция характерна для людей, которые готовы отдать в том случае, если сами приобретут, или пожертвовать, но с целью получить подтверждение значимости своей жертвы в глазах других.

«Для характера продуктивного, создающего процесс отдачи приобретает совсем другой смысл. Этот процесс для него — выражение высшей возможности. В процессе отдачи я открываю свою силу, могущество, богатство. Это возвышенное чувство жизни и способности наполняет меня радостью. Я ощущаю себя переполненным, щедрым, живым, счастливым. Отдавать радостнее, чем брать, не потому, что это означает отказ от чего-либо, а потому, что это мое жизненное самовыражение».²¹ В сфере материальных вещей давать — значит быть богатым. Не тот человек богат, которому многое принадлежит, а именно тот, кто много отдает. Скупец — нищ, независимо от того, сколько ему принадлежит. Тот, кто может от чего-либо отказаться, чувствует себя богачом. Но самая главная сфера отдачи — царство гуманизма, в котором человек отдает себя, часть своей жизни (не всегда это означает приносить в жертву жизнь) — радость, понимание, забота, юмор, интересы и т. д. Отдавая эту часть своей жизни, подчеркивает Фромм, человек обогащает другого, углубляет смысл своей жизни, углубляя смысл жизни другого. Отдавая от души, человек не может не получить того, что идет от другого, таким образом объединяясь в чувстве радости за обретенное.

«Говорить о любви — это значит говорить: любовь — это сила, порождающая любовь; импотенция — это невозможность породить любовь».²² Возможности любви зависят от степени развития личности и предусматривают достижения творческого состояния, в котором человек побеждает зависть, самолюбование, властолюбие, приобретает сознание своей силы, уверенность в своих силах при достижении цели. В той мере, продолжает Фромм, насколько у человека не хватает этих качеств, настолько он боится отдать себя,

ANNUL THE 1939 SOVIET-NAZI PACT CONSEQUENCES!



Restore independence to THE BALTIC STATES

ANNUL THE 1939 SOVIET-NAZI PACT CONSEQUENCES!



Restore independence to THE BALTIC STATES

ANNUL THE 1939 SOVIET-NAZI PACT CONSEQUENCES!



Restore independence to THE BALTIC STATES

ANNUL THE 1939 SOVIET-NAZI PACT CONSEQUENCES!



Restore independence to THE BALTIC STATES

ANNUL THE 1939 SOVIET-NAZI PACT CONSEQUENCES!



Restore independence to THE BALTIC STATES

ANNUL THE 1939 SOVIET-NAZI PACT CONSEQUENCES!



Restore independence to THE BALTIC STATES

ANNUL THE 1939 SOVIET-NAZI PACT CONSEQUENCES!



Restore independence to THE BALTIC STATES



ЛЮБОВЬ. 1939 — !



т. е. боится любить. Активный характер любви, продолжает Фромм, выражается и в следующих элементах:

— забота как активное отношение к жизни и благосостоянию того, кого мы любим (детям, цветам), труд на пользу других;

— отзывчивость как готовность «отозваться» на призыв другого, просьбу и т. п. (это не требовательность, навязываемая со стороны);

— уважение как способность видеть человека таким, какой он есть, принимать его индивидуальность (а не таким, какой он мне нужен для моих целей); это возможно только тогда, когда любовь свободна;

— познание, которое преодолевает слепоту, неумение разглядеть друг друга, только в любви реализуется жажда узнать себя и своих близких, чего никогда нельзя сделать простым узнаванием. Единственно полный путь познания реализуется в акте любви. Мне надо узнать себя и другого человека объективно, чтобы я был способен разглядеть его истинную сущность или, точнее, преодолеть иллюзии, неверные, уродливые представления о нем. Только тогда, когда я познаю живое существо объективно, я могу узнать его до

самой интимной сущности, и это я делаю в процессе любви».²³

В современном капиталистическом мире любовь соответствует, указывает Фромм, общему социальному положению: автоматы не могут любить. Так же и семья образуется в соответствии с общим господствующим законом рынка как «единая упряжь», как «хорошо смазанные отношения между двумя людьми, остающимися чужими друг другу, не достигнув настоящей близости, однако очень мило обходящимися друг с другом и старающимися жить по возможности приятнее. Это «эгоизм вдвоем», подменяющий близостью любовь, который можно считать и «сумасшествием вдвоем». Примером псевдолюбви Фромм называет и сентиментальную любовь, переживаемую лишь в воображении, а не в реальных отношениях. Она связана с подменной любви «заменителями» — фильмами, романами и т. д. В современном западном мире властвуют только две «нормальные» формы любви — любовь как удовлетворение полового влечения и как «работа в общей упряжке», бегство от одиночества.

«Любовь возможна лишь в том

случае, когда два человека вступают в связь сознательно, и, следовательно, каждому надо найти в себе центр этой сознательности. Только в таком «центре сознания», «центре существования» человек является самим собой, только здесь его жизненная сила, только здесь основа любви. Любовь, которую осознают в таком виде, — непрерывный призыв; в ней нет места отдыху, а есть движение, рост, общий труд; находятся ли они в согласии или в конфликте, в радости или в горе — это все вторично в сравнении с тем фактом, что эти двое воспринимают друг друга глубиной своего сознания, что они не чувствуют друг друга, а живут друг другом так же, как собой».²⁴ Есть только одно, подводит итог Фромм, доказательство любви — глубина отношений, жизненная сила каждого любящего. Это плод любви, по которому можно судить, есть ли она вообще.

Аспект любви, связанный с необходимостью отдавать, преодолевая свой личный эгоизм, жизненные инстинкты, имеет особое место в христианской морали, выразившееся в известном тезисе о любви к ближнему и врагу как к самому себе. Эта любовь занимает особое место не только



КОЛЛАЖ НОРМУНДСА НАУМАНИСА



КАНЬЯЧЧО ДИ САН ПЬЕТРО. ПОСЛЕ ОРГИИ. 1928

в христианстве, но в морали вообще, и поэтому рассмотрим ее немного подробнее.

Тезис подобной формулировки можно встретить уже в античной философии. Стоик Сенека, например, утверждал, что надо помогать врагам, ибо несправедливость не должна разрушать царящую в душе гармонию. Нравственная энергия должна преодолеть ненависть: если кто-то плюнул тебе в лицо, воспринимай это словно морскую пену, учил Сенека. Он подчеркивал: человек для человека — святыня. Античный гуманизм особо отмечал, что вся программа поведения человека проистекает из него самого, оценивающего себя в сравнении с другим человеком, любящего не себя, а другого, и мерилом, высшим проявлением этой любви является любовь к врагу. Здесь речь идет о твердости характера и силе личности, уважении.

В христианстве этот тезис имеет другое содержание — послушание и радикальный отказ от личных претензий: любовь к врагу — не утверждение человека как высшей ценности, а высшая точка преодоления себя, когда преодолеваются эгоистические желания, корысть. Это требо-

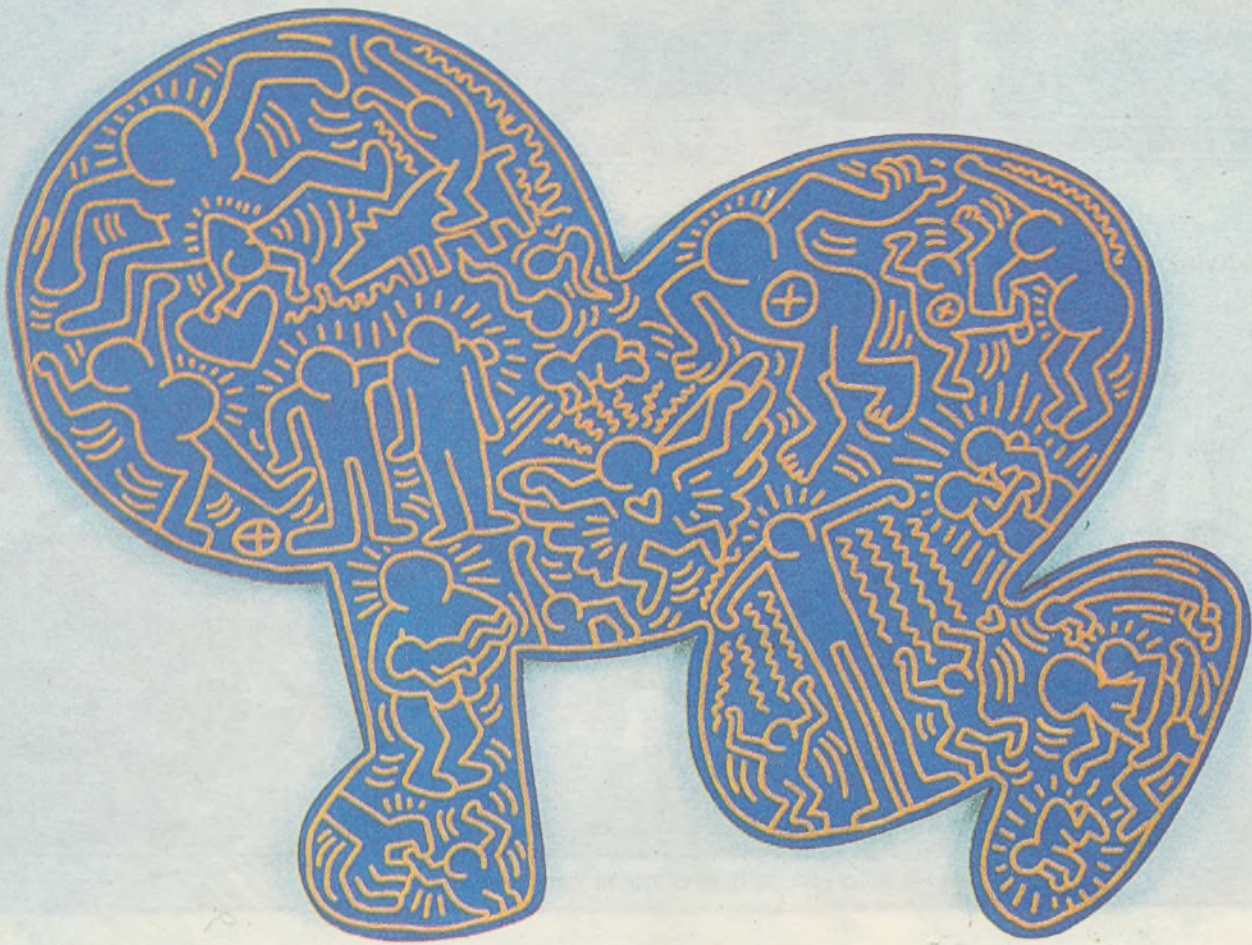
вание указывает на то, что на первом месте должна быть любовь к Богу, ибо отношением человека к Богу диктуется его отношение к ближнему — преодолевая в себе грешные желания (источник греха — самолюбие, себялюбие), человек готов принести в жертву себя как Богу, так и ближнему. Любовь к Богу возможна лишь тогда, когда индивид истинно любит и своего ближнего, и врага. Любовь по-христиански — не чувства, а самопожертвование в основе которой.

Поэтому эта любовь проявляется при условии, что человек верит в Бога, иначе она непонятна.

В соответствии с этим в христианстве выделены различные степени любви. Первая — низшая, связанная с «золотым законом» нравственности, а именно: не делай против другого того, чего бы сам себе не желал. Вторая степень говорит о необходимости отказаться от всего имущества, богатства и т. п., принадлежащего тебе, разделив, отдав его другим. Третья, в свою очередь, — высшая степень любви, выражается в способности вытерпеть всяческие унижения, ненависть, муки, боль, сохранив любовь к человеку, к своим

мучителям, убийцам (как смог это Христос, жертвуя собой ради грешных, злых людей).

Христианское трактование любви, таким образом, подразумевает душевное бескорыстие и доброту, подавление гордыни и себялюбия. В этом требовании, по существу, в религиозной форме заключен общечеловеческий идеал нравственности. «Акцентируется мысль, — пишет Г. Майоров, — что лучший наставник человеческой души — доброта, которая укрепляет хорошее в том, кто ее проявляет, и отводит зло от того, на кого она направлена. Так как доброта, если она глубокая и истинная, не сиюминутная, а постоянная, если она — принцип, то на самом деле она парализует зло и настраивает на взаимную доброту. Истинная доброта не горда и не хвастлива, она медлительна и спокойна в рассуждениях; она не слишком много рассуждает, не рассчитывает доходы и расходы, не мелочна, она исходит не от разума, а от сердца; ее порождает любовь. Давать, ничего не требуя взамен, даже не ожидая благодарности, тем более давать не ради самосовершенства, а ради желания давать — это непривычно, нелогично, но это так



КЕЙТ ХЕРРИНГ. БЕЗ НАЗВАНИЯ. 1984

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ АНДРИСА КРИЕВИНЬША

возвышенно и благородно, что каждый хотел бы видеть вокруг себя таких людей». ²⁵

Так надо понимать евангелические заповеди, абстрагируясь от религиозного учения, в рамках которого они сформулированы. Другими словами, христианство обращает внимание на то обстоятельство, что в основе обыкновенной морали лежит справедливость в юридическом понимании, что она зависит от правового сознания. Эта мораль руководствуется принципом эквивалентности поведения двух людей. То есть справедливость достигается тогда, когда на добро отвечают добром, на зло — злом. Однако с точки зрения совершенства нравственного идеала такие отношения далеки от совершенства.

Один человек ударит другого, в ответ тоже получит удар, пусть в порядке самообороны, но это не для того, чтобы зло не осталось безнаказанным, и чтобы человек, испытавший на себе действие зла, больше не делал зла. Человек, конечно, в будущем воздержится от насилия над другими, но что его удержит? Страх перед расплатой, которая заставит страдать самого! Страх может удержать от зла, но не может улучшить человека в нравственном плане, сделать его лучше. Он затемняет, портит, деформирует личность, подавляя в ней чувство свободы и человеколюбия. Нет ничего хорошего, нельзя любить из-за страха (то, что человек не делает зла, само по себе не норма). Аналогичен принцип, когда на хорошее отвечают хорошим (т. е. хоро-

шее надо делать потому, что тебе сделали что-то хорошее, или для того, чтобы в будущем тебе сделали что-то хорошее). Однако в таком случае принцип действия, по существу, безнравствен, это, безусловно, корысть.

Истинная нравственность, наоборот, возвышается над юридической моралью и основывается на принципе человеколюбия. Другой — всегда цель и ценность не меньшая, чем ты сам, и поэтому хорошее надо делать, ничего не ожидая взамен (ни вознаграждения, ни чего другого), единственно ради своей необходимости любить: «Люби ближнего как самого себя» [Матф., 22, 39—40].

В последующие эпохи этому аспекту морали уделяли внимание многие мыслители, выделяя мысль, что самое

существенное — себя — человек может получить, только бескорыстно отдавая. Как писал Гегель: «Истинная сущность любви в отказе от самого себя, забвение себя в другом, и все-таки в этой раздвоенности и забвении прежде всего человек найдет себя и будет собою управлять».²⁶

Также Л. Н. Толстой отмечал, что настоящая любовь возможна тогда, когда другого ставишь выше себя, и вырастает она из отказа от себя, самопожертвования. «Любовь тогда любовь, если это самопожертвование».²⁷ Ее невозможно перенести на лучшие времена, условия (например, материальные); любовь — или «здесь и сейчас» и вся сразу (не существует половинчатой любви), или ее вообще нет. «Любви не бывает в будущем; любовь — это действие единственно в настоящем. У человека, не испытывающего любви в настоящем, нет любви».²⁸ Любовь, так же как и добро, невозможно отложить, перенести на завтра. Она абсолютно конкретна и делает самого человека реальностью, дает возможность переживать себя реально — этой абсолютной конкретности и целостности. Единственно по-настоящему реален тот, кто чувствует, страдает, соперничает, любит, жаждет...».²⁹

Любовь — и в этом выражается ее уникальная роль в жизни — одна из немногих (может быть, даже единичных) сфер, в которых человек абсолютно незаменим, и способна эту незаменимость пережить. Во многих социальных ролях и функциях людей можно заменить, заместить, сменить, только не в любви. В этой сфере жизни, таким образом, индивид имеет высшую ценность, значение по сравнению со всем остальным (ребенок, женщина, Родина, друг и т. д.). Здесь человек — не функция, а он сам в своем конкретном и непосредственном абсолюте. И только именно поэтому только в любви человек может прочувствовать смысл своего существования для другого и смысл

существования другого для себя. Это высший синтез смысла существования человека. Любовь помогает ему проявиться, рассматривая, преувеличивая, развивая в человеке хорошее, положительное.

И заканчивая, любовь — это одно из проявлений человеческой свободы. Никто не может заставить любить (много чего можно заставить делать — работать, даже совершать зло, но не любить) — ни другого, ни самого себя. Это дело свободной инициативы, которая сама себя обосновывает — она основа самой себя. У нее нет внешних побудителей, и она не сводится ни к умозаключениям, ни к природным влечениям, инстинктам. Она часто может быть разуму понятна, и поэтому многие, например Л. Фейербах, их сближают, противопоставляя обоих иррациональной вере: «Потому любовь идентична лишь разуму, а не вере, что, так же как и разум, любовь свободна, универсальна, в то время как вера по своей природе скупа, ограничена. Только там, где есть разум, властвует всеобщая любовь; сам разум не что иное, как универсальная любовь».³⁰

Однако часто она выражается как нечто неподвластное разуму, особенно рациональной логике, расчетливым соображениям, как это, например, подчеркивали романтики. «В романтической любви, — писал академик В. Жирмунский, — соединяются романтическое учение о сущности жизни и ее назначении, мистическая онтология и этика. Любовь у романтиков — это мистическое познание сущности жизни; любовь открывает любящему бесконечную душу любимого. В любви соединяются небо и земля, чувственное и одухотворенное, духовное обретает плоть; любовь — самая сладкая радость на земле, на нее молятся, и она сама — молитва небу».³¹ В любви романтики нашли удовлетворение потребности в эмоциональной теплоте и психологической интимности.

Такую постоянную, самовосполняемую природу, возможно, наиболее точно охарактеризовал Б. Паскаль в своем учении о «порядке любви» (*ordo amoris*) — противоположность порядку, царящему в природе и разуме, или «логике сердца» (*logique de coner*). Он писал: «У сердца свои законы, которых не знает разум...» И дальше: «У сердца — свой порядок, у разума — свой, именно ум полагается на причины и доказательства, а сердце — на другое. Никто же не пытается доказать, последовательно разбирая причины любви, что надо любить того или иного человека: это было бы смешно... Этот порядок выражается в отклонении от порядка, которого требуют разум».³²

Специфику любви Ортега-и-Гассет старается охарактеризовать следующими словами: «Любовь — и именно только любовь, а не общее состояние души любящего — есть чистый акт чувств, направленный на какой-либо объект, вещь или личность. Как одно из чувственных проявлений памяти, любовь сама по себе отличительна от всех составных памяти: любить — это не соотносить, наблюдать, думать, вспоминать, представлять, а с другой стороны, любовь отличительна и от влечения, с которым она зачастую смешивается. Без сомнения, влечение — одно из проявлений любви, но сама любовь не есть влечение... Наша любовь — в основе всех наших влечений, которые, как из семени, вырастают из нее».³³

Вероятно, никогда не иссякнут споры о степени присутствия разумного и иррационального, физического и духовного в любви и т. д. Ясно, однако, одно — через нее мы осознаем, познаем и смысл жизни вообще, и собственную автономию. Любовь всегда счастлива, несчастлива лишь нелюбовь, ее отсутствие. Любовь — это критерий для нас самих и для окружающих наших способностей, нашего искусства быть человеком.

Перевод ТАТЬЯНЫ РУДЯК

¹ Толстой Л. Н. Полное собр. соч., т. 45. — М., 1966, с. 101.

² Fromm E. The Art of Loving, N.Y., p. 111.

³ О любви в этом аспекте, см.: Васильев К. Любовь. — М.: Прогресс, 1982.

⁴ Ортега-и-Гассет Х. Любовь и мудрость. — Р.: 1940, с. 59.

⁵ О любви и дружбе, см.: Кон И. Дружба. Этико-психологический очерк. — М.: Политиздат, 1980.

⁶ Интересно отметить, что в буквальном переводе с латинского слово «гермафродит» означает «сын мудрости». Это было определение Меркурия — значительная и поэтому принадлежащая обоим полам эмблема человека. В средневековье Меркурий обозначал ртуть и одновременно служил довольно сложным мифологическим, в известной мере конкурирующим с ортодоксальным образом Христа. Воскресший И воспринимался как «философский камень», т. е. алхимический эквивалент тела Христа.

⁷ Цифра «четыре» (соответствует квадрату) означает времена года, части суток, части света, стихи (огонь, вода, воздух, земля), цвета (красный, белый, синий, черный).

⁸ Platon. Menon. Pir. — R.: 1980, 76.—78. lpp.

⁹ Pirmā Mozus grāmata, 2.nodalā, 7.—24. pants.

¹⁰ Achleleg. Werke im zwei Bänden. Erster Band. Berlin und Weimar; 1980, S. 32—33.

¹¹ Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. М.—Л., 1935.

¹² См.: Tantra. The Indian cult of ecstasy. London, 1973; The Art of Tantra. — N. Y. and Toronto, 1978.

¹³ И. Кон. Открытие «Я». — Р.: Авогтс, 1984.

¹⁴ Ортега-и-Гассет Х. Любовь и мудрость, с. 59—60.

¹⁵ Platon. Menon. Pir. — R.: 1980, 90. lpp.

¹⁶ там же, с. 97.

¹⁷ Ортега-и-Гассет Х. Любовь и мудрость, с. 83.

¹⁸ там же, с. 79.

¹⁹ Fromm E. The Art of Loving, p. 16.

²⁰ там же, с. 18—19. «Любовь младенца следует принципу: «Я люблю потому, что меня любят». Возмужавшая любовь следует принципу: «Я люблю потому, что люблю». Неокрепшая любовь означает: «Я люблю тебя потому, что ты мне нужен». Возмужавшая любовь означает: «Ты мне нужен потому, что я тебя люблю» (там же, с. 37).

²¹ там же, с. 21.

²² там же, с. 22.

²³ там же, с. 29.

²⁴ там же, с. 96.

²⁵ Майоров Г. Г. Этика в середине века. — М.: Знание, 1986, с. 15.

²⁶ Гегель В. Ф. Соч., т. 13. — М.—Л., 1940, с. 107.

²⁷ Толстой Л. Н. О жизни, с. 88.

²⁸ там же, с. 83.

²⁹ М. де Унамуно. Трагедия жизни, 1959, с. 159.

³⁰ Л. Фейербах. Сущность Христианства. Основы философии будущего. — Р.: Авогтс, 1983, с. 137.

³¹ Жирмунский В. М. Религиозное отречение в истории романтизма. — М., 1919, с. 18.

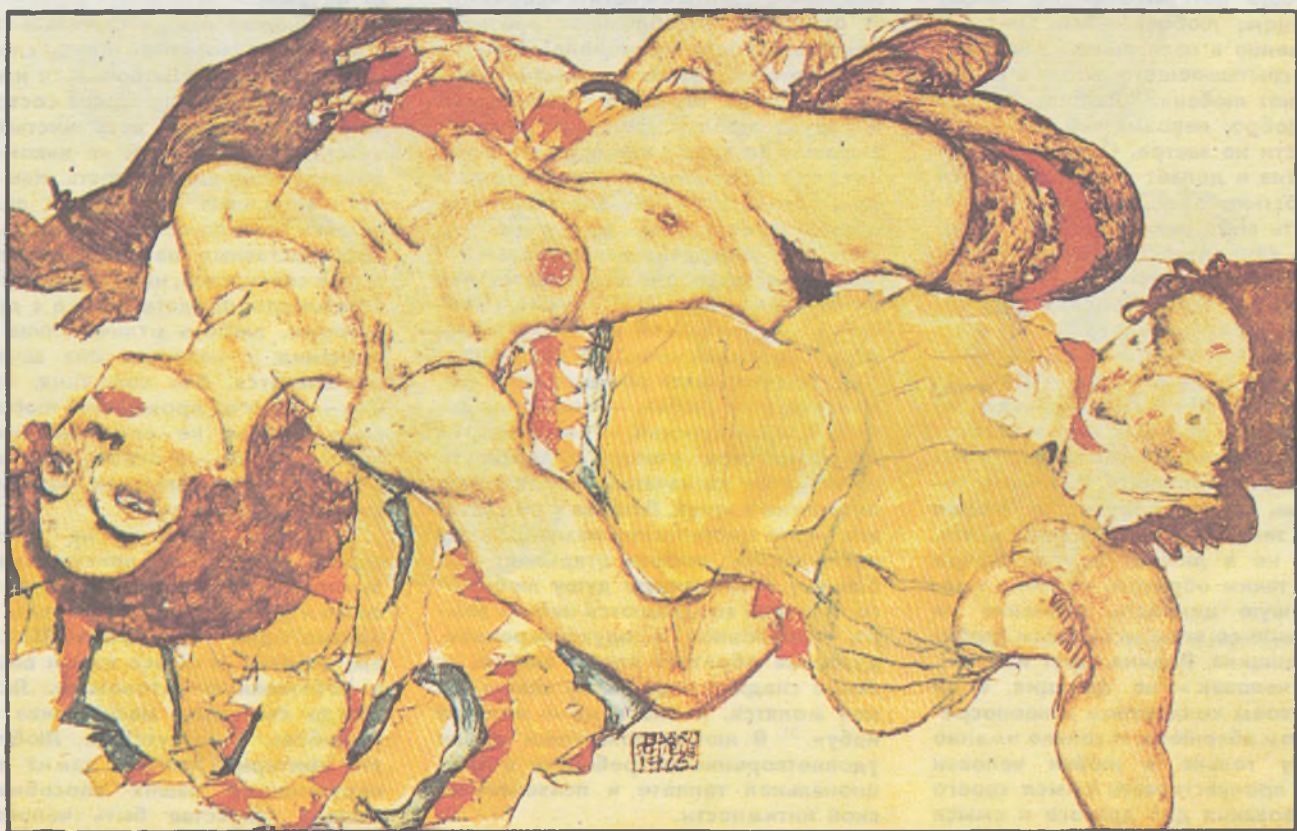
³² Паскаль Б. Мысли, с. 103.

³³ Ортега-и-Гассет Х. Любовь и мудрость, с. 88—89.

ГЕНРИ МИЛЛЕР

ЭРОТИКА

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ



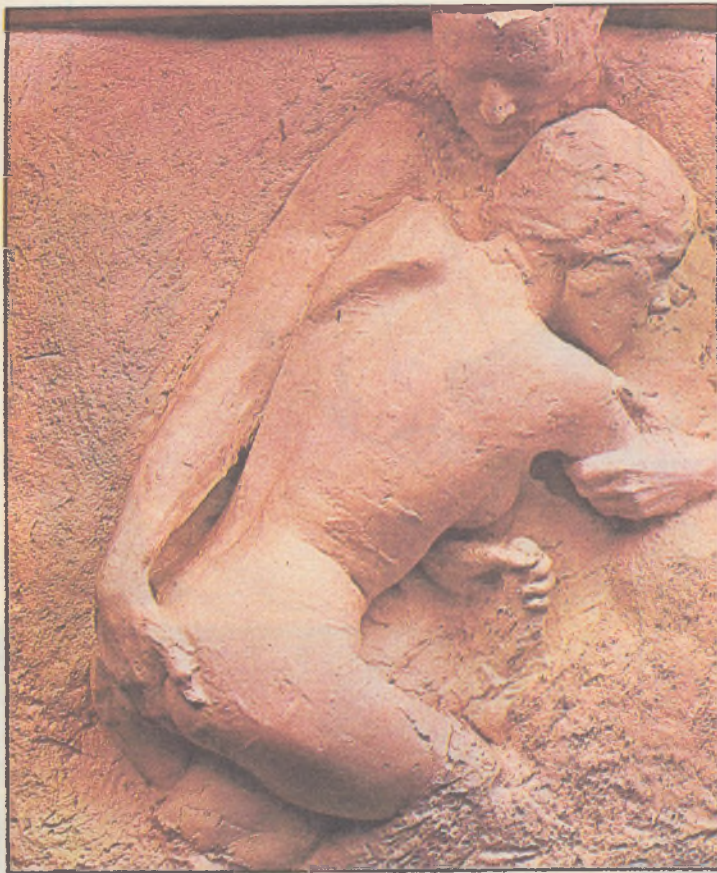
ЭГОН ШИЛЕ. Две модели, лежащие друг подле друга. 1915

Сегодня мы наслаждаемся свободой читать, читать все, написано ли это мастером или писакой, смакующим непристойности. Даже кино позволило нам наблюдать, как пары занимаются любовью. Когда же дело доходит до скульптуры и живописи, сразу же возникает ореол запретности, если речь идет о показе широкой публике. Монархи, аристократы и миллионеры всегда имели доступ к этим тайным сокровищам искусства. Равно как и Государство и Церковь. Во всяком случае, эти коллекции не выставлялись для показа. Вероятно, это вызвано тем, что религиозные, политические лидеры должны оберегать правоверных от того, что им нельзя читать и нельзя смотреть. Но странная вещь, ни один из охранителей фонда нечестивых произведений искусства не впал в безумие, не стал насильником или выродком, хотя, судя по всему, это должно произойти с человеком с улицы, стоит ему эти работы показать. Богатый коллекционер, ценитель или критик, священник, цензор могут на них спокойно смотреть, не опасаясь за свою моральную устойчивость. Но не

простой человек. L'homme moyen (простой человек) всегда считался потенциальным сексуальным маньяком, и его следовало ограждать частокором запретов.

Здесь¹ представлены картины и скульптуры выдающихся мастеров. Их творчество вызывало восхищение, перед ними преклонялись критики и ценители. Что же заставило этих мастеров, скажем так, сбиться с пути? Может, это было временным помрачением разума, или они были сексуально одержимыми или просто скверными, злобными людьми? Но нет, как доказывает их творчество. Они выбирали эротику в большой степени по тем же причинам, что и любой человек. Потому что это бессмертный, неистребимый, сильный элемент жизни. Эротическое, а с ним и оккультное никогда не перестанут притягивать, всегда будут удерживать наш интерес. Я не устаю говорить об этом. И все-таки на протя-

¹ Речь идет о книге «Эротическое искусство мастеров», фрагменты из вступления к которой мы публикуем.



1.

- 1 ДЖОРД СЕГАЛ. ОБЪЯТИЕ.
2 МЭРИЛИН МОНРО.
3 ДИНАСТИЯ ЦИН, СЕРЕДИНА XVIII в. ИНЬ и ЯНЬ



2.



3.

жении веков цензоры, светские и духовные, пытались подавить все что было приятным и возбуждало чувства, или низменные инстинкты человека, как это называется. Как будто можно пренебречь самыми интимными актами бытия, сделать вид, что их не существует. А когда уже исчерпаны все предлоги, вспоминают о том, что следует охранять молодых. Сегодня молодые видели и пережили гораздо больше, чем их родители. Во всяком случае, вряд ли можно возложить на молодых вину за полный хаос, в котором оказалось общество.

Сегодня проблемы вседозволенности, свободы читать что хочется и делать что хочется вызывают беспокойство. Об этом много говорят. Но если эротическое искусство великих мастеров считается грязным и развращающим, значит, эта свобода все еще под подозрением.

Можно спросить, обязательно ли эротическое искусство непристойно. В литературе эротика может быть подана возвышенным языком, и до недавнего времени так оно и было. Другое дело — изобразить мужчину

и женщину в сексуальном объятии на холсте. Картины этого жанра наносят человеку удар между глаз, или ниже пояса, если хотите. Здесь все живо, ясно и недвусмысленно. В глаза бросаются все части тела, связанные с физической любовью. И неважно, занимаются любовью бог с девственницей или лебедь с аппетитной нимфой. Во времена Боккаччо, например, за этим запретным занятием часто изображали духовенство, обычно в винном погребе, где похотливый монах или священник овладевает девицей сзади, в то время как она наливает вино из огромной бочки...

Какое определение эротического искусства оказалось бы жизнеспособным? Я бы сказал так — это все, что возбуждает вас, усиливает страсть, вызывает вождедение... Пусть меня не обвинят в аморальности, но я нахожу эротическую живопись полезной для здоровья, а для закомплексованных и импотентов — лечебной. Сегодня психиатры советуют этим людям выискивать эротику в искусстве и литературе так же, как и на экране.

Весьма странно, что эротические работы художника,



РЕНЕ МАГРИТ. Откровение. 1927



ЭГОН ШИЛЕ. Мужчина и женщина. 1913



ГЮСТАВ КУРБЕ. Сон.

Фоторепродукция АНДРИСА КРИВИНЬША

имя которого уже вошло в обиход — Пабло Пикассо, — не отвечают определению, данному выше. Риску утверждать, что в этой области Пикассо как бы наносит удары для видимости. Его эротические картины игривы, тем самым чувственность, которой в них ищут, поддельная. Он, конечно, как всегда великолепен и непредсказуем, но сцены, им изображенные, скорее забавляют, доставляют удовольствие и дразнят, чем возбуждают, во французском значении этого слова. И этим они представляют большой контраст, например, с полной серьезностью японцев. Если японский художник иногда придает сцене оттенок юмора, изобразив в углу картины пару кошек, занимающихся тем же, нет никаких сомнений, что сами любовники абсолютно серьезны...

Действительно, что же больше всего возбуждает в эротических произведениях искусства? Для одних это может быть обилие волос на лоне, для других — их отсутствие. Иногда это позы, которые принимают любовники. Или лицо женщины, чьи искаженные черты выражают полное самозабвение, или совокупление

сатира с притворно скромной девственницей или монашкой. Словом, перефразируя известное выражение, у каждого своя ахиллесова пята... Способы и средства, разумеется, бесконечны, но они могут быть поразительно изощренными и соблазнительными. И вне всякого сомнения, самое главное — чтобы художник был художником. Даже в «непристойных» произведениях искусства мы ищем руку мастера. Работа халтурщика оставляет нас холодными и воспринимается с иронией. Я не говорю «с отвращением», ибо как бы ни была она плоха, если она заставляет нас думать и алкать, в ней есть что-то, что не позволяет от нее полностью отмахнуться...

Залы художественного музея могут вогнать в сон. Мы уже сыты по горло шедеврами, которые хорошо сохранились, как бесценные мумии. Но стоит нам встретиться с эротическим искусством, и мы оживаем. Нам неважно, кто это написал и когда, мы просто благодарны за предоставленную возможность принять участие в празднестве жизни.



ПОЛЬ ГОГЕН. Двое.



ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ. Адам и Ева. 1538

Изображает ли эротическое искусство Любовь, Любовь с большой буквы? Не всегда. Однако когда это происходит, когда оно славит хрупкую, смертную оболочку — человеческое тело, мы верим вместе с верующими, что человек создан по образу Божьему. В религиозном искусстве самая возвышенная любовь всегда прославляла тело. Когда мы принимаем причастие, мы символически вкушаем плоть и кровь Христову. И это действительно так, иначе мы бы просто играли в каннибалов. Что касается меня, то я не впал в экстаз, когда первый и последний раз причастился много лет назад, но я каждый день восхищаюсь чудом и великолепием мироздания.

Среди простых и естественных праздников плоти, которые дарит нам наше тело, — физическое единение мужчины и женщины. Ему мы обязаны не только величайшим эмоциональным переживанием, доступным плоти, но и самой жизнью. Если изображение этого акта в словах, красках или иными средствами — зло, развращающее и растлевающее, то те, кто изрекает

это, — больные и безнадежно испорченные люди. Если в древности считалось мудрым и полезным снабжать непосвященных руководствами по искусству любви, по искусству соития, то тем более важно сегодня посвящать молодых в глубокий и таинственный смысл самой любви. Ибо тот, кто ложится с женщиной только ради того, чтобы удовлетворить свой сексуальный аппетит, упускает главную цель этого акта и лишает себя истинного наслаждения — отдаться в нежные руки возлюбленной, вручить ей свое сердце и душу.

«Красота есть правда и правда — красота», — писал Джон Китс. Художник лучше, чем священник знает, где таится истинное зло. Он благоговейно поклоняется великолепию мироздания и славит его. Он не проповедует; он приглашает нас созерцать то, что написано в наших сердцах.

Перевела с английского
ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА

ДЭВИД БОУИ ГЛАЗАМИ ДЭВИДА БОУИ

НАЧАЛО

Когда я был очень молодым, я увидел, как танцевала моя кузина. Она двигалась под „Hound Dog“ Элвиса, и я никогда не видел, чтобы она так двигалась еще когда-нибудь. Это — могущество музыки — действительно произвело на меня впечатление. Я начал покупать пластинки. Моя мама купила мне «Bluebaly Hill» Fats Demino на следующий день. Когда я стал старше, то услышал о Чаке Берри, и это привело меня к ритм-энд-блюзу, джазу и блюзу. Я старался открыться всем стилям. (Ноябрь, 1972.)

Сейчас мой брат Терри находится в психиатрической больнице. Мне бы хотелось думать, что сумасшествие в нашей семье означает гениальность, но я боюсь, что это неправда.

Я просто увлечен безумием. Это хорошая штука, чтобы сразу все отбросить, правда? Каждый находит что-то интересное в рухнувшей семейке. Каждый говорит: «О да, моя семья совершенно сумасшедшая». Моя действительно такая. Я не шучу, мальчишки. Они по большей части безумны — даже если не попали в больницу. Или не умерли.

Я годами не разговаривал с ними. Мой отец умер. Помоему, я заговорил с матерью пару лет назад. Я никого из них не понимаю. Дело не в том, понимают они меня или нет. Просто я ботинок для совсем другой ноги. (Февраль, 1976.)

Все время в отрочестве я провел, меняя обличья и роли. Однажды я был музыкантом, потом — стилиягой, изучающим, кем быть. (1972.)

Я был разбит. Я пришел в рок, потому что таким приятным образом можно было делать деньги и в течение четырех-пяти лет озадачивать своими выходками. Но до этого я был художником. Изучал дизайн в Бромлейской высшей технической школе. Пробовал заниматься рекламой: это было ужасно. Это было хуже всего, что я делал. Но мне удалось добиться успехов, занимаясь с маленьким саксофоном, поэтому я бросил рекламу и подумал: попробуем заняться роком. Во-первых, так можно неплохо провести время, а во-вторых, заработать немного денег. Чтобы жить. Особенно потом. Это были стилияжьи дни, в хорошей одежде можно было выиграть половину сражения. Я прожил тогда за мусорными ящиками на улицах Карнеби. Когда-то Карнеби-стрит была модной, до тех пор, пока не стала всем известной в Лондоне. Самые лучшие молодые модельеры работали именно здесь. И так как это были очень дорогие итальянцы, то если у какой-нибудь рубашки не хватало пуговицы или чего-нибудь в этом роде, то такую

вещь отправляли на свалку. Мы их обходили и осматривали все мусорные ящики. Так — совершенно бесплатно — у нас появился полный гардероб. Все, что нужно было сделать, так это пришить пуговицу или рукав. Мы все поймались на удочку стать вторым Элвисом... Я прошел через множество группочек, был даже в мим-труппе „Feathers“. (Февраль, 1976.)

Миму меня учил Линдсей Кемп. Главная трудность мима в том, что там есть рутинный набор тем, который надо играть лишь со своими вариациями.

Марсо блистателен с технической точки зрения. Я не думаю, что все, что он говорит, уместно; но большинство из тех, кто ходит посмотреть на него, видят технику, современное балетизированное движение и совершенно замечательный физический контроль человека над собой. Я по натуре не дотошный. Но мим я понял лишь как средство создания окружающего мира. (1973.)

Со „Space Oddity“ было очень тяжело. Шел 1969 год, а я стоял перед всеми этими головами в резиново-кожаных париках. Как только я (немного похожий на Боба Дилана) появился с вьющимися волосами и просто одетый, меня освистали и заплевали. Было ли это ужасно? Я стал параноиком и просто вырубился. (1972.)

Когда умер отец, я был в одном из своих плохих состояний. Это бывает у меня, и тогда я совершенно не чувствую других. Когда умер отец, я почти ничего не чувствовал несколько недель... И только потом это все ударило... (1972.)

Я был в отчаянии в те дни. Это было что-то сверхъестественное. Мой отец умер, а через неделю моя запись стала хитом. Это наложение походило на пантомиму. Траги-комедию. (Апрель, 1971.)

Я встретил Тони де Фриза. Он сказал: «Я могу вытащить тебя из этого». Я открылся. Я был просто потрясен, что кто-то обладает властью над миром.

Я всегда был сильнее тех, кто окружал меня. Более определенный и желающий много сделать. Здесь все переставали рисковать.

Это походило на восхождение на гору, когда тащишь за собой много детей — «Ох, ну пошли же, пожалуйста!» — и ни с места.

И была такая сила... Похоже, что все изменяется. (1972.)

КТО Я?

Я всегда чувствовал себя вместилищем для чего-то, но я так и не понял, для чего именно. Я думаю, каждый



ндкса:

наето
рбулет
длоб-
накна
носта
носта
длоб-
накна
носта
длоб-
накна
носта

Фото ОЛЕГА ЗЕРНОВА

чувствует то же самое в то или иное время: что он не принадлежит самому себе. И гораздо чаще обращается к Библии и соглашается, что, возможно, дело в Иисусе, Боге и всей этой религии. Такое чувство, что все мы здесь находимся с совсем другой целью. И во мне это очень сильно.

Это вопрос возможностей... Его-то я и решаю. Я вижу вещи, которые происходят на моих глазах, и стараюсь увидеть их как бы в будущем. (Январь, 1973.)

Я искренне чувствую, что чего-то в моей жизни совершенно невероятно не хватает, и я не знаю, чего именно.

Я пытаюсь увидеть себя объектом судьбы (потому что люблю экспериментировать с разными физическими предметами). Я думаю, что люди обладают большей способностью быть вне, чем это им представляется. Поэтому если я в состоянии думать каким-то особым образом временами, то и большинство людей тоже может это делать.

Очевидно, мы идем по разным касательным, и я уверен, что множество людей воспринимает все это иначе, чем я. (1973.)

Я никогда не был так счастлив, как в то время, когда вернулась старая добрая вещь «*I'm gonna change the world*». У меня это было однажды. Тогда я был потрясенным идеалистом. А потом, когда увидел, что все мои усилия напрасны, я превратился в жадного пессимиста. Маниакально-депрессивного. Сейчас у меня в этом смысле все в порядке. (Февраль, 1976.)

Я люблю шоковую тактику. Я хочу обмануть и получить реакцию.

Художественного здесь ничего нет, но, по меньшей мере, это изумляет. Мамы и папы думают, что я какой-то таинственный, но я не новатор. На самом деле я проявляю то, что уже было внутри. Я просто отражаю то, что происходит вокруг меня. Но не все из моих опытов приятно. Некоторые даже я нахожу противными и порой опасными. Но когда мне говорят, что я плохо влияю на молодежь, я только смеюсь. Я не очень ответственный человек.

У меня нет желания таскать все эти неприятности на своих плечах. Если люди хотят подражать моему стилю, прекрасно. Но я не адвокат их действий. (Июль, 1973.)

Весь мой отдых проходит на работе: здесь я совершенно серьезен. Я всегда думал, что единственное, что нужно сделать, — попытаться пройти по жизни, как супермен. Буквально. По-другому я чувствовал себя слишком значительным. И потом, я не мог существовать, думая, что все важное может принадлежать лишь хорошему человеку.

Бог с ним... Но я не хочу быть простаком. Я хочу быть сверх-сверхсуществом и улучшить производительность всего, что мне дано, процентов на 300. Я решил, что это вполне возможно.

Года два назад я понял, что стал тотальным продуктом моей концепции Зигги Стардаста. Таким образом я совершил очень успешный круиз по новой идентификации собственной личности. Я ободрал себя и потом сложил заново, ряд за рядом. Обычно я сижу в постели и отбираю то, что никогда не любил или не мог понять. И в течение недели я старался убить это. Первое, что я уничтожил, — отсутствие чувства юмора. Почему я решил, что я — над людьми? Мне нужно было что-то решить. Пока это не произошло, но я вонзился в себя. Это была очень хорошая терапия. Я выблевал себя. И делаю это до сих пор.

Иногда мне кажется, я знаю причину своей печали. (Февраль, 1976.)

Я хочу быть суперменом; я думаю, что очень рано понял, что человек — это не очень совершенный механизм. Я хотел сделать себя лучше. И всегда думал, что все время должен меняться... Сейчас я знаю точно, что моя личность совершенно отличается от прежней. Я оглядываю мысли, свою внешность, маньеризм, идиосинкразию — не нравятся они мне.

Поэтому я разобрал себя и сложил совершенно другую личность. Когда при мне говорят что-то умное, я присваиваю это и потом использую как свое.

Если в ком-то я вижу качество, которое мне нравится, я беру его. Я все еще занимаюсь этим. (Февраль, 1976.)

Как ни крути, я не интеллектуал. Очень я огорчился, когда увидел рекламу в Америке, которая представляла меня чем-то вроде интеллектуала новой волны. Но я и не примитив. Я бы определил себя как осязающего мыслителя. Я улавливаю предметы...

Я — хорошенькая ледышка. Очень холодная. Я так считаю. У меня сильный лирический, эмоциональный драйв, и я не знаю, откуда он приходит. Я не уверен, что все в моих песнях проходит через меня. Песни уходят, и я слышу их потом и думаю, что тот, кто их написал, сильно их прочувствовал. Я не могу чувствовать сильно. Я ооченел от холода. Мне кажется, что я все время хожу вокруг этого холода. Поэтому в некотором смысле я — продавец льда. (Ноябрь, 1972.)

Я научился следовать себе. И на самом деле не знаю, где же настоящий Дэвид Джоуес. Это похоже на игру в капусту. У меня так много всего сверху, что я забыл, как выглядят ядро. И я не узнаю его, даже если найду. Известность помогает избавиться от проблемы открыть себя. Я так думаю. Это, по-моему, важнейшая причина, по которой я хотел быть принятым, почему я так обдирал свои мозги, приспособливая их к занятиям искусством. Я хочу оставить след. Раньше это было сплошной претензией. И я считаю себя ответственным за всю новую школу претензий. (Февраль, 1976.)

ЗИГГИ СТАРДАСТ

Я не лишен иллюзий, потому что, когда начинал, верил, что Зигги для меня — все. Это было пять лет назад. Если вы хотите сделать вклад в культуру, политику, музыку или еще во что-нибудь, надо приспособить себя не только к музыке. Лучший способ добиться этого — разнобразиться и стать помехой всему и повсюду. (Март, 1976.)

Я хочу походить на Винса Тейлора. Это он придумал Зигги. Винс Тейлор — американская звезда рок-н-ролла, который медленно сходил с ума. В конце концов он поджег свой оркестр и вышел на сцену в белой простыне, предложив публике признать его Иисусом. И зрители прогнали его. (Февраль, 1976.)

Вы знаете, я ничего не делаю наполовину. Костюмы для выступления должны быть возмутительными. Я их сделал 10—12, разных, для всей группы, а не только для себя. Я любил, чтобы мои музыканты были одеты не как все люди. Они походили на группу из «Вестсайдской истории»: в блесках, коротких пиджаках, длинных кожаных сапогах.

Я изменил прическу и почувствовал себя насильником. Я был готов к кровавым развлечениям, и не только на сцене. Но я не мог этого сделать в жизни. Я — последний из людей, претендующий на то, что я — радио. Но лучше я стану цветным телевизором. Это будет прекрасно. И вся группа так легко попала в это! (1972.)

Множество людей, с которыми я говорил после концертов, по-разному представляют себе Зигги. Они знают, как он работает для них. Я бы не хотел разбивать вдребезги чье-то личное видение. И мне совсем не хочется рассказывать свою версию, потому что я согласен во всеми остальными так же, как и со своей. Я понимаю, что они имеют в виду, и ненавижу тех, кто хочет разрушить все эти представления: ведь они реальны. Все это имеет силу. (1972.)

Я еще увлечен Зигги. Возможно, через несколько месяцев он выйдет из меня, и мы сделаем другую маску. Я на-

деюсь, что и вы, и Зигги будут счастливы. Зигги — это мой вам подарок. (1972.)

Я очень чувствую Зигги. Это оказалось очень легко: день и ночь быть в характере. Я стал Зигги Стардастом.

Дэвид Боуи вылетел в окно.

Все считали меня мессией, особенно в первые гастроли в Америке. Я сам безнадежно потерялся в этой фантазии. В Англии я мог бы стать диктатором, Гитлером, например. Это было бы нетрудно. Концерты становились все более устрашающими, так что даже газеты заговорили: «Что-то должно произойти!». И они были правы. Я был бы прекрасным диктатором. Эксцентричным и абсолютно сумасшедшим. (Февраль, 1976.)

Зигги был частично сотворен из определенного рода высокомерия. Но вспомним, тогда я был молод, и такая идея казалась мне позитивной. Я думал, что это было прекрасное произведение искусства, созданное мной. Я думал, что это грандиозная картина-кич. Это было настоящее страшилище.

Эта дрянь не покидала меня годами. Это было в период всеобщего окисления. Все происходило так быстро, что в это трудно было поверить. И это захватило меня на ужасно долгое время. Я целиком был к этому привязан. И я снова жил с этим.

Оглядываясь назад, я не сожалею, потому что все это вызвало цепь экстраординарных событий в моей жизни. Я думаю, что мог бы взять у Зигги интервью. Зачем было его оставлять на сцене? Почему бы не закончить портрет? Глядя в прошлое, я понимаю, что это был полнейший абсурд.

Все это стало опасным. Я действительно стал сомневаться в своем здравии. Я не могу отрицать, что этот опыт захватил меня безумно сильно. Я подошел к опасной черте. Не буквально, разумеется. Я играл в эти заумные игры сам с собой так широко, что был очень рад вернуться в Европу и снова почувствовать себя нормально.

Но вы же знаете, мне всегда везло. (Октябрь, 1977.)

РАЗУМНЫЙ АЛЛАДИН

Я не думаю, что этот характер столь же выражен, как Зигги. Зигги был ясно ограничен сферой игры, а Алладин — это эфемерная прелесть. Но он тоже представляет собой оппозицию индивидуальному сознанию.

ТОНКИЙ БЕЛЫЙ ГЕРЦОГ

Я перестал что-либо прибавлять к себе. Я перестал приспосабливаться. Нет больше никаких героев. Но у Белого Герцога был отвратительный характер. (Сентябрь, 1977.)

Это был изоляционист, сосредоточенный на себе, безо всяких обязательств перед обществом. (Весна, 1978.)

ЛЮБОВЬ И СЕКС

Я никогда не любил. Однажды влюбился, и это было ужасно. Это убило, иссушило меня и стало катастрофой.

В этом была ненависть. Влюбленность — это то, что порождает животный гнев и ярость. Это немного похоже на христианство или любую другую религию. (Февраль, 1976.)

Я начал бродяжничать с семи лет. Это не поза, а правда. Потом я стал грубым потому, что мои интересы не соответствовали обычным увлечениям этого возраста, вроде ковбоев и индейцев. Мои интересы были более таинственны. Когда подступало настроение, я говорил что-нибудь вроде: «Я думаю, что умираю», — садился и несколько часов пытался умереть. Я же актер, вы понимаете, что люди воспринимали это как детские шалости. (1972.)

Когда мне было 14 лет, секс неожиданно стал самой важной вещью. При этом совершенно не имело значения,

кто и что вызывал его, как долго это длилось. Это мог быть симпатичный мальчик из другой школы или еще кто-то, кого я приводил к себе домой. Это все было. Моя первая мысль: если я когда-нибудь попаду в тюрьму, то буду знать, как остаться счастливым. (Февраль, 1976.)

Я помню, как это случилось впервые.

Как-то меня интервьюировали и спросили, было ли у меня в этой сфере что-нибудь веселенькое. Я сказал: «Да, я бисексуален». Этот парень, журналист, так и не понял, что я имею в виду. Он бросил на меня устрашающий взгляд: «О, господи... И петух, и курица...». Я не думал, что мои проблемы сексуальной жизни будут так широко освещаться прессой. Ведь это что-то вроде записок на манжетах...

Это правда — я бисексуален. Не могу отрицать, что я этим хорошо пользовался. Думаю, что лучшее, случившееся со мной, именно это. И самое смешное — тоже.

С другой стороны, девушки считали, что я храню свою гетеросексуальную невинность по особой причине. Поэтомu каждая из них пыталась перетянуть меня на свою сторону, говоря: «Милый Дэви, это не так плохо. Я покажу тебе». Или еще лучше: «Мы покажем тебе».

Я играл немного. (Февраль, 1976.)

Когда я привез в Америку фильм «Человек, который продал мир», то оделся в женское платье. Потому что собрался в Техас. Один парень там увидел меня, схватился за ружье и обзавал педерастом.

Но платье все равно было замечательное. (Апрель, 1971.)

Это очень смешно, вы мне никогда не поверите, но это пародия на Габриэля Розетти. Не впрямую, разумеется. Поэтомu когда мне говорят, что культ скачущей королевы был создан до меня, я отвечаю: «Прекрасно. Не надо объяснять; ведь никто этого не поймет». Я буду играть один, и ничто меня не остановит. Потому что стремление людей к скандалу дает мне шанс. Газеты целые тома исписали о том, что я болен, что я убивал правдивое искусство. И если бы они могли, то все отдали бы настоящим художникам. Это очень мило, потому что они же уйму крови положили на описание очередного цвета моих волос. Я хотел бы знать, почему они убивают время, описывая мои позы и одежду. Почему? Зачем?

Потому что я опасен. (Весна, 1976.)

Время возвышения я уже пережил. Приятного в этом было процентов 50. Я сейчас вспоминаю лишь то время, когда ездил в Японию. Там совершенно прелестные мальчики. Ну, не совсем мальчики. Им по 18—19 лет. У них восхитительный образ мышления. Они цветут до 25 лет, потом неожиданно превращаются в самураев, женятся и обзаводятся сотней детей.

Мне это очень нравится. (Февраль, 1976.)

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ БИСЕСУАЛЬНЫ?

О Господи, да нет же. Честное слово, нет. Это ложь. Мне создали такой образ, и я играл его несколько лет. Ни в жизни, ни на сцене, ни в студии звукозаписи я не был бисексуальным.

Это уже невесело.

Я думаю, мне просто нужно много людей. Мне это чувство так хорошо знакомо. Но, с другой стороны, собрать их всех сразу — значит превратить их в быструю поживу для газет.

Вас сразу затопчут. Чтобы остаться собой, надо вести партизанскую войну, самая большая награда в которой — ваша способность довести ее до конца, до самой могилы. (1972.)

Я не верю, что в рок-н-ролле можно сказать больше пары новых мыслей. Каждый должен высказать одну идею. Это

такой эфемерный род культуры, что стоит подумать о том, стоит ли в нем вообще оставаться. Если вы действительно стремитесь сказать что-то новое, это становится иным способом остаться, оставить след.

Так произошло с Бобом Диланом, и доброму старому Брюсу Спрингстину было ужасно тяжело начинать. Но потом это уже неинтересно. (Март, 1976.)

Я никогда не был рок-н-рольным певцом. Я был груб, как они, но у меня есть определенная склонность к придумыванию героев и воссозданию их с помощью холодного чувства.

Я отдаю им себя, но это — преувеличение всего, что я чувствую о себе. Возможно, это какая-то часть меня, которая на самом деле взрывается. Другие герои были вспышками других рок-музыкантов.

В это время я гораздо более доступен на сцене, чем тогда, когда был персонажем — параноидальным прибежищем Нью-Йорка. (Март, 1976.)

Последние лет десять рок плетется за искусством. Он довольствуется огрызками. Я прихватил кое-что из литературы и использовал в работе. Но этого нельзя было делать, если все на самом деле мертво.

То же случилось с роком. Он только сейчас приближается к Дада. Можете считать меня футуристом, но я думаю, что современен настолько, насколько это нужно. А все остальное — из того, что я делаю, — это ретроспективный взгляд на то, что уже было до этого.

Такой была атмосфера лет пять назад. Этого сейчас так много, что кажется, будто они представляют сегодняшний день. Но это не так. Сейчас все берется из атмосферы пятилетней давности. (Июнь, 1978.)

Теперь вы знаете, что я не самый теплый исполнитель и никогда таким не был. Потому что я очень робок, когда говорю с людьми со сцены.

... Знаете, пока не наделаешь крупных ошибок, никогда не начнешь расти. Поэтому вы просто должны совершать ошибки. Сначала я ошибался раз в неделю, если вы так не поступаете, то никогда не станете самим собой. Я учился искусству ошибки, чтобы понять героя, который носился в воздухе. Люди любят наблюдать за теми, кто ошибается: они предпочитают тех, кто их может пережить. Делать ошибки и переживать их — это лучшее, что есть.

Так называемые мятежники не пользуются популярностью, потому что, ошибаясь, они преодолевают свои ошибки. Я думаю, публика идет на рок-концерт, чтобы получить информацию, а артист — это тот, у кого она есть. Не знаю, какая именно, но что-то по поводу того, как можно выжить. Я уверен, что рок-н-ролл с этим связан; и этот жизненный инстинкт пронизывает музыку, слова и все вокруг. (Март, 1976.)

Возможно, я вообще вне рок-н-ролла. Возможно, я только пользовался им. Вот что я делаю. К рок-н-роллу я не имею никакого отношения.

Я не прославляю его. Я только выражаю себя. Выражаю то, что бывает у меня в голове, или то, что делает меня прежде всего творческой личностью. Так случилось, что меня посадили на рок-н-рольную диету. По-моему, это просто мой холст. Это на самом деле основа, как у живописца.

Рок-н-ролл — это лишь материал, который выводит к самовыражению. (Июнь, 1973.)

Дали — первый среди тех, кто движется. Он что-то пишет. Но большинство подошло бы к такому же результату путями, резко отличными от его путей.

Другое дело, Дали сказал как-то: все, что не следует за традицией, — это плагиат. Я понимаю это так: сначала надо изучить традиции, а потом отказаться от них. Когда они познаны.

Мне кажется, что я всегда изучал рок аналитически. Небольшие островки его, которые интриговали меня.

Иногда мне хочется постоять на краю. И я не знаю, поражение это или выигрыш.

Я чувствую, что точка зрения аутсайдера выигрышна. По крайней мере, она выигрышает не меньше, что принадлежит ангажированному человеку.

Впрочем, я не знаю... время рассудит. И сейчас я совершенно не знаю, что такое традиция рок-н-ролла. (Июнь, 1973.)

Рок-н-ролл действительно подстрелил меня позднее. Есть опасность превратиться в неподвижного, стерильного фашиста, который все время плетет сеть своей пропаганды. Она-то и диктует уровень мышления и ясности, выше которых уже не подняться. И тогда у вас не будет ни малейшего шанса услышать по радио Бетховена. Вы будете должны слушать только О'Джейса. Я понимаю: диско-музыка — это великая вещь. И первая моя пластинка („Fame“) была диско, но это эскейпистский выход. Это болезнь. Рок-н-ролл тоже. Он захватывает и ломает вас. Он ведет к примитивному, в необходимости которого я не убежден. Рок всегда был дьявольской музыкой. И вы не убедите меня в обратном. (Февраль, 1976.)

Единственное, что я могу сказать, так это то, что рок-н-ролл — задачка, ставящая в тупик. Мое заявление очень критично, если исключить его двусмысленность. Я думаю, что «рок-н-ролл — вокруг всех». Похоже, что я хотел немного показать, как это выглядит в стране, напоминающей безжалостную пластиковую игрушку. Вот о чем был предыдущий альбом. Кому нужно послушать кровавого художника, тот вспомнит другой альбом. Some op! (Август, 1975.)

Я чувствую, что сделал для рок-н-ролла все, что мог. Я создал эпоху, отвечаю за это и являюсь единственным, кто остался в глубине. Было бы печально, если бы я действительно оказался в дерьме... (Март, 1976.)

ПЕСНЕПИСАНИЕ

Я не пишу легко. Когда я учился живописи, умел рисовать. Но когда я решил, что делаю это не очень хорошо, я начал стараться словами сказать то, что раньше хотел выразить живописью. И это было нелегко. (1973.)

Сначала я всегда пишу мелодию. Потом слова к ней. Мелодию адаптирую по мере надобности. (Май, 1973.)

Я рисую музыку, ее контур, то, какой она должна быть. Я должен писать, как живописец, чувства, потому что не могу объяснить их. Музыканты, которые работали со мной, сейчас выучили мой язык. Эта музыка требует соучастия. (Июнь, 1978.)

Я не хотел бы писать, пользуясь многими точками зрения. Я бы хотел представить образы сегодняшнего дня, образы, с помощью которых мы устанавливаем стандарты и живем. Я хотел показать песню.

Понимаете, акцент ставится на том, что люди говорят; мудры они или нет, не имеет смысла, потому что я не хочу быть мудрым и глубоким. Цель художника — это только исследование. И все, что я хочу делать, — исследовать и представлять результаты. (1972.)

Должен сказать, что я не знаю, о чем я говорю в песнях. Все, что я пытаюсь делать, — так это собрать интересующее меня, то, что ставит меня в тупик и становится песней. Люди, слушающие мои песни, должны взять из них то, что могут, и посмотреть, совпадает ли их опыт с моим. И что вообще мы сейчас делаем.

Все, что я могу, так это сказать: «Заметили ли вы и что это значит?». Это все, что я могу сделать с песней. Я не могу объяснить: «Это — то-то и то-то...». Я не могу сделать, потому что я не знаю! Я не знаю! (Январь, 1973.)

В основном мне не нравится музыка, которую я написал

за последние годы. Я забыл, что я не музыкант и никогда им не был. Я всегда хотел быть кинорежиссером, чтобы оба медиума слились. Я старался наложить кинематографические концепции на звук. И не получилось. (Февраль, 1976.)

Все, что я могу, — объединять полученную информацию.

Я записал песню для нового альбома, которая называется «Время», и я думал, что она о времени, и я очень тяжело описывал его и чувствовал тоже, но когда прослушал запись — Боже мой, это была веселенькая песенка! Я же в мыслях не имел намерения написать что-то подобное. Когда я снова прослушал запись, то просто не мог поверить. Я подумал, ладно, пусть это останется, как самая большая странность. (Январь, 1973.)

На самом деле мне нечего сказать. Я ничего не могу предложить или посоветовать. Ничего.

Все, что я могу, — так это предложить несколько идей, которые помогут людям подольше слушать все это.

И, может быть, у них что-то появится, и они спасут меня. Моя карьера похожа на такой ход. Я уйду отсюда через убийство. (Февраль, 1976.)

Я не хочу, чтобы они что-то придумывали. Они так же смущаются, как я, когда думаю о том, что делаю. Я думаю, что я последний, кто способен понять написанное мной.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОПИСАТЬ САМОГО СЕБЯ?

Немного загадочный, немного старомодный . . .

СТАРОМОДНЫЙ?

Да. (Ноябрь, 1972.)

Я жив только после реакции. Если ее нет, значит, моя работа провалилась. Я так считаю. Если вещь действительно провалилась, это уже реакция. И мне нужна только реакция. (1972.)

На самом деле я не знаю, как долго будут продаваться мои альбомы. Я думаю, они должны быть более экстремистскими и полностью соответствовать тому, о чем я хочу писать. (Февраль, 1976.)

АЛЬБОМЫ

Каждый альбом имел успех, как иллюстрация определенной эпохи, как ее фотография, в создании которой я тогда участвовал. Это было время музыкальной фотографии. Я люблю смотреть свои альбомы 70-х годов и думать, что несколько моих фотографий, как капсулы, заключили в себе прошедшие годы. (Весна, 1979.)

. . . все, что есть на небе, живое и настоящее. И мы должны стать хоть немного счастливее, думая о будущей всеобщей встрече людей. (1972.)

. . . Я вовсе не удивлен тем, что Зигги Стардаст сделал мне карьеру. Я изготовил абсолютно заслуживающую доверия пластиковую рок-звезду. И мой герой превосходил всех этой особенностью.

«Алладин» — это Зигги в Америке . . . (Сентябрь, 1974.)

Три даты: 1913 — 1938 — 197?

Я хотел сделать как предисловие к песне чувство постоянной катастрофы, которое я испытывал, работая в Америке. С этой точки я начал преодолевать эту катастрофу. Так я чувствую себя с 1947 года и по сей день.

. . . Альбом „David Live“ — это конец Зигги. Напряжение, которое здесь есть, напоминает укусы вампира. И

еще это фото на обложке. Боже мой, я выглядел так, как будто только что встал из гроба.

Это сейчас так чувствую. А альбом этот следовало бы назвать *David Bowie Is Alive And Well And Living Only In Theory*. (Октябрь, 1977.)

Когда мы записывали „Young Americans“, по ночам у студии стояли дети, часов до десяти утра. Мы впускали их, проигрывали некоторые вещи из альбома. Им нравилось все веселое.

Здесь был чисто эмоциональный драйв. Это один из первых альбомов, сделанный на эмоциональной коллизии. И внешне концепция не видна.

Тут я начал чувствовать себя писателем, но к этому времени совершенно изменился. Боже мой, я ведь чувствовал это. Но пока не сложишь всего вместе, никогда не знаешь, что же получилось. Так только, номера, отрывки . . .

Но когда мы все вместе прослушали записанное, то стало очевидно, что я действительно изменился. И значительно больше, чем думал.

Каждый раз, слушая готовый альбом, я получаю шок. И думаю — ба, неужели я действительно здесь оказался? (1974.)

Никаких рассказов. Молодые американцы. Это о паре повобрачных, которая никак не может разобраться, нравятся они друг другу или нет. Своего рода интересное доложение.

Номер „Win“ — своего рода песня-моральте. Она была написана под впечатлением от людей, которые не работают тяжело, ничего вообще не делают, не думают. Не порицайте меня за это, я ведь привык тяжело работать.

Вы знаете, что легкость (когда вы что-то добываете) — это и есть победа.

. . . И „Across the Universe“ — одна из сильнейших вещей, написанная Джоном Ленноном. Я всегда почему-то думал, что она какая-то сказочная, но совершенно бессодержательная. И я вообще-то выбил из нее весь ад. Она нравится немногим. А я очень ее люблю и думаю, что хорошо исполняю ее лишь в самом конце.

Говорят, что я использовал Джона Леннона . . . позвольте вам заметить . . . что никто и никогда не использовал Джона. Он приходил и играл. И был прекрасен.

„Can you Hear Me“ написана для той, о ком я не скажу. Это настоящая песня любви. Я не обманываю. (Август, 1975.)

Джон Леннон . . . Это больше, чем влияние или помощь. Всегда начинает вырабатываться адреналин, когда рядом Джон. Но его главный вклад состоял в исполнении „Fame“. Ничего не произошло бы, если бы с нами не было Джона. Он был энергией, и поэтому ему доверено это было написать . . . он был вдохновением. (Ноябрь, 1976.)

Никакой радости в рабочем процессе не было. Я исключил его из „Station to Station“. Это было безумно волнующе, потому что походило на мольбу о возвращении в Европу. Это был один из тех разговоров с самим собой, которые время от времени бывают у каждого.

. . . Многие в этом альбоме от депрессии. Это было ужасно большое время. Я был в страшном состоянии. Потому что все еще был в рок-н-ролле. И не только в нем. А в самом центре его. Я должен был вырваться . . . Я никогда не стремился быть настолько ангажированным рок-н-роллом . . . а в Лос-Анджелесе я оказался в самом его центре. (Октябрь, 1977.)

В ЛА все время приходилось возвращаться к року. Это было кровосмешение. У меня как будто на глазах были шоры и я не видел других музыкальных возможностей. Я вдруг понял, как мало я знаю о мире. И то, что в альбоме „Low“ нет текстов, отражает простой факт: я буквально был в тупике.

Я начал искать новый музыкальный язык, потому что у меня должна была начаться новая жизнь. Это настолько личное, что я надеялся: меня не поймут. (Январь, 1978.)

„Low“ — это реакция на скучный зеленовато-серый американский рок-н-ролл. Когда я вылетел оттуда и оказался в Европе, то сказал себе: «Ради Бога, скажи, почему тебе непременно нужно быть на первом месте в этом деле? Ты действительно хочешь быть клоуном? Остановись. То, что тебе нужно, — так это посмотреть на себя более внимательно. Найди людей, которых не понимаешь, и место, где тебе не хочется находиться, — и вперед. Напрягись и сам отправляйся в магазин...»

И я так и сделал. (Ноябрь, 1977.)

... „Art Decade“ — это Западный Берлин, город, отрезанный от мира, искусства и культуры, умирающий без надежды на возмездие. „Weeping Wall“ — это о берлинской стене-страдании. Следующий номер — о людях, оказавшихся в Восточном Берлине после раздела, отсюда слабые джазовые саксофоны, олицетворяющие память о прошлом.

Начало жизни в Берлине шло под девизом: не лучше ли быть самим собой, и пусть все летит к чертовой матери. Это настроение и есть „Low“, как и жалость к самому себе. Вторая сторона пластинки отразила наблюдения (в музыке) за жизнью в восточном блоке — на Западный Берлин. Это все я не мог выразить словами. Из всех известных мне текстов больше всего подошли те, что были написаны Брайаном Ино.

... Но я был растерян от того, как принимался этот альбом прессой. Я доверился ей, как никогда раньше. А многие не заметили в нем Ино. Хотя его важность очевидна. И я вложил в этот альбом много крови и сил. Этот факт тоже игнорировали. (Сентябрь, 1977.)

Берлин — это город, загримированный барами для печальных, лишенных иллюзии людей. Чтобы они могли в нужный момент выпить.

Здесь много изолированных общин людей. Это очень печально. Очень, очень печально.

Встретившись с такой жизнью, затрудняешься петь «Давайте все думать о мире и любви».

Но... Дэвид, почему ты это сказал? Глупо. Именно потому ты и должен был сюда приехать и увидеть такое. Здесь нужно сострадание. И название альбома — „Heroes“ — говорит о том, как, оказавшись лицом к такой реальности, можно выстоять. Надо выстоять. Только героический акт поможет ощутить связь с жизнью, дать радость от очень простых удовольствий, которые все равно есть. Несмотря на то, что здесь пытаются убить каждое движение жизни. (Октябрь, 1977.)

В альбоме „Heroes“ в первом номере все начинается с резкого поворота к мраку. Но это симпатичная песня о том, как я сегодня чувствую в старомодной романтической манере. Ведь вы же чувствуете, как многое уходит из-под контроля. Это приводит в ярость, потому что не должна депрессия управлять жизнью и каждое утро диктовать свои условия. Вплоть до того, как одеться и привести себя в порядок. (Май, 1979.)

ФИЛЬМЫ

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ МИР».

Николас Руг, режиссер, пришел ко мне домой спустя несколько недель после того, как отослал мне сценарий. Он приехал, а меня не было дома.

Через восемь часов я вспомнил о назначенной встрече. А вернулся домой на девять часов позднее назначенного времени. И думал, что он, конечно, ушел. А Николас сидел на кухне. И не входил в комнату.

Боже, как мне было стыдно. Я думал, что и в кино мне будет стыдно сниматься. Он спросил: «Ну, Дэвид, что ты

думаешь о сценарии?». Я ответил: «Он немного корявый, да?». Его лицо дернулось, потом он начал что-то говорить. Два или три часа спустя я понял, что этот человек — гений.

Там, в сценарии, была очень сильная история, но она была чем-то вроде шкурки на мясе. И я все еще не понял того, что заложено в этом фильме, потому что он находится на таком художественном уровне, который значительно выше моего. (Февраль, 1976.)

Больше всего я люблю делать деньги. Я художник, и все, на чем их можно заработать, — это хорошо.

Не знаю, актер ли я. И не могу понять этого до тех пор, пока не увижу свой фильм в обычном зале, где рядом будут люди. Это будет проверка. Я хочу понаблюдать за собой в этом контексте. Я старался работать как можно лучше. Этот фильм требовал неигры, потому что характер Ньютона — очень холодный, невыразительный. На земле он с трудом изучает эмоцию, которая с трудом до него доходит.

Мне предлагали много сценариев, но я выбрал этот, потому что не должен был петь и выглядеть как Дэвид Боуи.

А сейчас я думаю, что Дэвид Боуи похож на Ньютона. Одну вещь Руг делает хорошо: вводит в роль. Меня он ввел полностью. и сказал, что после окончания работы пройдет еще много времени, прежде чем я выйду из роли. И он был абсолютно прав. После четырех месяцев съемки я еще полгода оставался Ньютоном. (Март, 1976.)

... Мне бы хотелось что-нибудь поставить. Актер может лишь работать над ролью. Режиссер — единственный, кто собирает все вместе, и в конце концов вы видите его идею, его концепцию. Вот, я думаю, где зарыт мой талант.

Я не очень хороший актер. Я весь составлен из клише. Люди говорят: «Ах, это штампы». Но они очень важны. Они понятны всем и потому универсальны. Да и жизнь полна штампов. Они могут многое сказать. (Декабрь, 1975.)

Я чувствую, что больше познал в процессе съемок, чем когда увидел готовый результат. И результат этот мне не понравился. Он получился очень плотный, как пружина, которая готова развернуться... Конечно, это часть того, что называется чудом кино.

Разница между кино и сценой чудовишна.

Я думаю, что театральная спектакль представляет собой больше церемонию, в которой можно сыграть роль жреца. Но в кино вы вызываете духа из себя. (Октябрь, 1975.)

«КАК ТАНЦОР». Режиссер — Дэвид Хеммингс.

Это было очень приятно, потому что я гораздо ближе к Дэвиду, а он очень великодушен.

Я нахожу необычайно увлекательным проникновение под кожу людей, находящихся рядом. Я действительно много думал о своем герое дома, управлял им и показывал, как это делается. Это невозможно объяснить, но это как бы следование мыслям, а не повторение их... Это удивительно!

Как говорил мне Питер Брук: «Ну, в «Отелло» всего лишь 3.584 слова. Сейчас вы знаете все слова, и единственное, что нужно, так это правильно их употребить».

Я ненавижу говорить об актерской игре. Я недостаточно знаю ее. (Февраль, 1978.)

ПОЛИТИКА

Готовьтесь к войне, потому что она грядет. Она будет гражданской, а не мировой. (1972.)

На этой планете нет ни одной заслуживающей доверия страны. Поэтому иногда хочется застрелиться. Это изматывает. И я думаю, мы должны становиться сильнее.

Для начала нравственность должна выпрямиться. Она ведь неузнаваемо изменилась. Вся эта цивилизация... Она

ведь даже не декадентская. Мы не знаем настоящего декаданса, потому что мир погряз в филистерстве.

Если вы, как и я, верите, что современная мораль . . . или отдельные ее проявления . . . изгнаны господствующей властью или средствами массовой информации . . . для того, чтобы подавить или осмеять рабочего человека, чтобы он поменьше вглядывался в свою жизнь.

. . . Пути использования масс-медиа неисповедимы. Со всеми своими потенциальными возможностями они только все разрушают. В Америке вообще нет обратной связи между телевидением, радио, литературой, газетами и читателями и зрителями. (Август, 1975.)

Мне бы очень хотелось сделать что-то такое, чтобы очистить масс-медиа. У меня есть идея, но я лучше сделаю, чем буду говорить о ней. Рок-н-ролл не выполнил своего предназначения.

Подлинной целью его было установление альтернативного медиума в виде живого голоса для людей, не обладавших властью и возможностью проникновения в высшие круги общества. Иначе говоря, он был действительно нужен людям.

И то, что мы сказали, было лишь использованием рок-н-ролла для выражения сильных чувств против условий, в которых мы оказались. Но мы обещаем, что сделаем что-то, чтобы изменить мир. И рок-н-ролл будет чем-то вроде трамплина.

Но сейчас это — божественная юла. Правда? Она все время крутится в неизменном пространстве. И рок-н-ролл мертв. Это беззубая старушка. А это смущает.

Вы, видимо, надеетесь, что я неправ. Но я прав. Мои предсказания весьма точны. . .

Диктаторство! В скором будущем появится политическая фигура, которая согнет в дугу эту часть света, как это сделал ранний рок-н-ролл. И вам сейчас нужен крайне правый фронт, который все выметет и вычистит. А затем вы получите новую форму либерализма. Некоторые облегченные формы его носят в американском воздухе, потому что у них нет никакого основания и они должны исчезнуть. Ибо они отделены от законов, установившихся в кровавые 50-е и ранние 60-е и 70-е.

Поэтому лучшее, что сейчас может произойти, — это приход к власти крайне правого правительства. Его позитивный вклад будет заключаться в том, что в людях родится смятение. И тогда они или примут диктаторство, или отвергнут его.

Все это похоже на калейдоскоп. Не имеет значения, сколько и каких цветов вы в него вложите, все равно они превратятся в какой-то рисунок. (Август, 1975.)

Люди не очень-то блещут. Они заявляют, что им нужна свобода, но когда выпадает случай, они проходят мимо Ницше и выбирают Гитлера. Потому что он сумеет промаршировать по комнате, а в стратегически важный момент свет вспыхнет, и даже зазвучит музыка. (Февраль, 1976.)

Я бы хотел заняться политикой . . . Однажды я это сделал. Очень хочу быть премьер-министром. Для того, чтобы ускорить приход либерализма, я бы для начала устроил прогресс правой, абсолютно диктаторской тирании для того, чтобы как можно быстрее преодолеть ее. В тюрьме люди быстро становятся очень ответственными.

. . . Но сначала я хочу создать свою страну. Государство, в котором захотел бы жить сам. Я мечтаю о том, чтобы в один прекрасный день скупить все радио- и телекомпании и контролировать их. Потому что все в нашей жизни — лишь результат манипуляции средствами массовой информации. (Февраль, 1976.)

Я ничего больше не могу прояснить в своих заявлениях. Я аполитичен. Чем больше я путешествую, тем меньше я могу увериться в правоте политических философов, хвальных что-либо. Чем больше я вижу разных общественных систем, тем меньше я готов отдать предпочтение какой-либо стране. Это стало бы для меня катастрофой: признать действительное за разумное.

Ну, а в общем это все шутка. (Октябрь, 1977.)

Перевод с английского и послесловие
ЛАРИСЫ МЕЛЬНИКОВОЙ.

В этом тексте, собранном из интервью, — литературный биографический портрет Дэвида Боуи.

Книг подобного рода у нас нет по той причине, что нет и традиции интервьюирования. Я поясню, что имею в виду. У нас под понятием интервью бытует декларация официальной точки зрения на тот или иной вопрос, которая излагается не сплошным текстом, а в разбивку вопросами. При этом манера и стиль наших интервью, как прежде всего записанного живого слова, никак не отличается от обычных статей. У нас также не имеет значения личность журналиста; это видно по тому, что ответы всегда психологически безадресны. И что еще важно — у нас читатель никогда не догадывается о том, что же за человек перед ним; какие у него особые черты, кроме объявленных позиций.

Интервью — это взгляд внутрь. Того, кто на вопросы отвечает, и того, кто их задает. Это попытка одной стороны максимально приблизиться и открыть другую сторону, которая, в свою очередь, желает как можно дальше отдалиться и закрыться. Эта игра имеет в своей основе интерес к умопостигаемым деталям жизни (особенно знакомым, понятным), которые (по нашему иллюзорному представлению) дадут возможность разгадать человека. Нас не без оснований гложет мысль о том, что он унесет свою тайну в могилу. А публика вроде бы и желает разгадки, но на самом деле страшится ее.

Этот момент также известен и Дэвиду Боуи, и английскому журналисту Майлсу, который осуществил титанический труд по отбору интервью и их расположению.

Мне кажется, что удача этой книги именно в качестве ее литературности, которое позволяет ощутить моментальность факта интервью и прикоснуться к натуре Боуи.

Читая текст как лирическую прозу, можно почувствовать разницу между журналистами, которые интервьюировали Боуи. Разная степень его к ним доверия дала разный повествовательный стиль. Из этих стилей постепенно складывается портрет Боуи как персонажа литературного, близкого, на мой взгляд, персонажам Джойса.

К достоинствам текста следует отнести намеренное избегание сциентизмов и прочих клише. Поэтому он свободен, он дышит, к нему можно прислушаться.

К сожалению, за пределами перевода остался уникальный фотоматериал, который на самом деле был основой книги. А сама она скорее походила на раскадрованный фильм, снабженный субтитрами. Пластический элемент (который бывает и изобразительным, и выразительным) необычайно важен у Боуи — поэта, музыканта, художника, исполнителя.

Что же касается тайны этого человека, то к ней по-своему прикоснулся Бергман в фильме «Фанни и Александр». Там в самом конце появляется персонаж-медиум по имени Исмаил. Его портрет — это фактическая копия портрета Зигги Стардаста, романтика, желавшего изменить мир, исследуя проблему всеобщего греха. И наказания, которое должно настичь всех. . .

Жаль, что наш зрительский опыт обеднен тем, что мы не встречались с Дэвидом Боуи. Тем внимательнее стоит вчитаться в текст.

ДАЦЕ БАЛОДЕ ЯНИС КРУМИНЬШ

БИОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕКА— ЭТО И ЕГО.

СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ



Фото ИНТА КАЛНИНЬША

— На Съезде народных депутатов СССР писатель Валентин Распутин высказал озабоченность тем, что эфир и прессу захлестнули мутные волны секса и насилия. Проникли они наконец и в наш чистый «Родник». Почему, откуда? Не могу, впрочем, избавиться от ощущения, что уважаемый писатель все свалил в одну кучу.

— Думаю, вскоре в России секс и насилие действительно будут в одной куче, потому что может оказаться, что нет никаких моральных критериев. Прежние, пускай призрачные, но бытовавшие в сталинской России, приказали долго жить. Они, конечно, сыграли свою роль, сплотив людей в одну серую массу и породив страх. Но

в скором будущем, по-моему, в России вспыхнет нечто вроде сексуальной революции, причем в донельзя исковерканных формах. В Латвии, Литве и Эстонии эта волна уже в какой-то степени отошла (в Литве она ощущалась меньше всего — католицизм!), и мы, балтийцы, делаемся более европеизированными, что ли. Ныне европейскость означает гораздо большую прочность семейной жизни. В условиях нарастающего потока информации и оживления контактов многим у нас известно, что делается на Западе, и каждый, кто побывал там, смог убедиться — да, возможностей заниматься сексом у них в сто раз

больше, но и личностные устои куда тверже. Стабильность личности — вот чего у нас нет. И неудивительно: в атмосфере двойной морали, навязываемой человеку извне, на окружающей ярмарке лицемерия искали самореализации в непрерывном пьянстве и разврате самого низкого пошиба. Подкосились и рухнули и остальные опоры благонравия — трудовая добродетель, девичья честь. В этом смысле Латвия, вероятно, стала первым полигоном в стране. России это еще предстоит. И все эти эротические театры и секс-кооперация в условиях, когда нет никакого отбора, никаких критериев и моральных принципов,

представляют собой, по-видимому, самый легкий путь выпуска пара, энергии народных масс. Вентиль. Ибо до нормального самовыражения, обеспеченного материально и культурно, дистанция огромного размера, сто лет шагать — не дошагать. Этот вентиль, с одной стороны, выгоден правящему классу, но, с другой, — чреват деградацией всего и вся изнутри. В истории так бывало не раз: в периоды потрясений империи все тонуло в сплошном разврате, распад становился неизбежным. Когда-то свирепствовал сифилис, теперь СПИД.

В Латвии сейчас своеобразное двоевластие, причем абсолютное. На уровне эмоциональном, митинговом мы уже фактически свободны, это одно. Но ничто не меняется по существу, это другое. Наплыв мигрантов не остановлен, колбасы по-прежнему нет. Для решения любого вопроса требуется «добро» партийных органов, хотя очевидно, что там сидят все те же, что и раньше, и диктуют все, как встарь. Механизм и структура власти живут своей жизнью, общество — своей. И трещина между ними, на мой взгляд, углубляется. Долго это продолжаться не может. Пропасть разверзнется — и катастрофа. И тогда, вероятно, насилье, в самых явных формах, и дальнейший упадок морали. Симптоматично, что среди латышской молодежи мало кто во что верит. Одни сверхциники, другие — фомы неверующие. Из кого, например, состоят сельские группы Народного фронта? Да там одни пенсионеры. Если так будет продолжаться, ничего хорошего не жди. Те же алкоголизм, наркомания и гнилая мораль. Я, кажется, сам себе противоречу — только что говорил о знакомстве, пусть по верхам, с европейской цивилизацией и традициями, о нарастающей информированности — и на тебе! Но в том-то и дело, что окно в Европу распахнуто для понимающих, а таких, увы, немного. Спрашивается, при чем тут секс? При том, что он неотделим от политики. Нынешняя наша жизнь — лавина информации, стремительная политизация и идеологизация — это ведь путь к половой импотенции. Безумная картина! Пора серьезным людям поработать над ситуацией и призвать всех к уравновешенности и спокойствию. Возьми меня — я три-четыре года подряд света белого не вижу. Никогда, знаешь ли, не ощущал кровной связи с природой, но лето — солнышко, зеленая трава, деревья, луга, речка, цветы — лето для меня всегда существовало. А теперь? Присаживаю штаны в прокуренных помещениях, а вечером потягиваю коньячок, чтобы немного расслабиться. Так мы понемногу все станем импотентами. В то же время я не вижу оснований и для восторженных призывов Дайниса Иванса — ах, давайте плодиться и размножаться! Это, по-моему, еще опаснее. Тут сам за себя не поручишь-

ся, а ведь какая-то ответственность у человека должна быть. Может, это и цинично звучит, но, логически рассуждая, телачий оптимизм безоснователен сегодня. Мол, будет у латышей по шесть-семь детей в семье, то-то зашагаем навстречу благоденствию. Так ведь ничего не решалось.

— В апреле во всесоюзной печати писалось о том, как свыше ста ушедших на покой членов ЦК КПСС поклялись в верности любимой партии. Любовь к партии и государственным деятелям, к родному предприятю и токарному станку... Вся наша жизнь случаем не плод сексуальных комплексов, абсурдной сублимации и извращенности некоторых [многих!] людей!

— Собственно, в твоём вопросе уже частично заключен и ответ. Тут и Фрейд, и экзистенциалисты. И нынешнее наше бытие, и прежнее. Правда, теперь мы любим не партию и вождей, а свой народ и освобождение. Но живем по-прежнему ненормальной жизнью и нормальным образом не любим ровным счетом ничего. В свое время любовь и ее проявления сублимировались в лобзаниях Брежнева. Это была сексуальная революция по-советски. На глазах у всех нормальный поцелуй нации превращался в слюнявое лобызание маршмалтиков. Об этом ходили анекдоты. А вот о любви между мужчиной и женщиной — молчок, и не пикни. Если начинают трезвонить о любви к родине — так и знай, на пороге кризиса доверия. Любовь и ненависть — вещи очень даже конкретные.

Одного американского политолога мы спросили, какой у него самый любимый анекдот о России. И этот профессор Принстонского университета, специалист высокого класса, рассказал грубоватый анекдот о том, кто какой любовью занимается. Французы — оральная (через рот), мусульмане — анальная (через задний проход), а советские — брейнальная (мозговой). Нам непрестанно дрючат мозги. Вся наша политика не только не была человеческой, но и очеловеченной не была ни на грамм. Потому-то нашим государственным мужам так тяжело было контактировать на международной арене с их деятелями — общепринятые нормы человеческого общения нашим высокопоставленным были несвойственны. Это относится к эпохе Брежнева, Андропова, Черненко, а впрочем и Хрущева. Какие у них могли быть отношения, например, с Жискар д'Эстеном, признанным в ходе опроса, проведенного, кажется, австралийским секс-журналом «Клео», самым сексуальным мужчиной во Франции! Горбачев — первый из советских лидеров, кто дал почувствовать, что он мужчина, показал, что у него женственная супруга и что он вообще нормальный человек.

— Фактически в сексе, как и во многих других областях, мы старательно пытались планировать и на советский манер

управлять такими вещами, которые подчиняются хорошо известным внутренним закономерностям. Если же их игнорируют или крутят влево-вправо, наподобие поворота северных рек, то и выходит уродство вселенского масштаба. Но половое влечение и половая деятельность в мире были, есть и будут, пока существуют мужчины и женщины. И эротика не бранное слово и не пена на мутной волне, докатившейся до нас «знамо откудова». Что означает эротика в психическом, умственном и душевном складе латыша, в латышской ментальности?

— Могу только сослаться на наши народные песни — дайны. Латыши народ крестьянский и, видимо, поэтому довольно тяжеловесный. Но одно точно — у нас было больше здоровой жизнестойкости, витальности, этим просто полны наши дайны, и мы не были так испорчены, так заидеологизированы. Мне кажется, секс у латышей был, в хорошем смысле слова, по-животному здоровый. Как в итальянском фильме «Серафино». Челентано там играет едва ли не кретина, но от него исходят земная сила и всамделишность, а это основа жизнеспособности во все времена. Если народ хочет быть жизнеспособным, живучим... Об англичанах, допустим, расхожее представление совсем иное — бледные, анемичные, скованные, застегнутые на все пуговицы. Может, встарь латыши были сексуальнее, чем теперь. Если иметь в виду общую сексуальность нации, конечно, а не распутство. Это вопрос и о стиле жизни. В независимой Латвии, насколько я могу судить, были и идеальные златокудрые красотики, и нравственность была. Внутренняя стабильность в людях, пусть даже насаждавшаяся авторитарически. Сегодня говорить о нормальной культуре, неотъемлемой составной частью которой является культура сексуальная, — полный абсурд. Остается все создавать заново, потихоньку выкарабкиваться из пеленок. Механически перенимать чужое, скажем, французский стиль, тоже нельзя. В телепрограмме «Лабвакар» показали однажды шокирующий видеоклип — приложение к журналу «Плейбой». Знаешь, это перепрыгивание через этапы, я бы сказал, апофеоз онанизма. Продвигаться надо шаг за шагом, на карту поставлено слишком многое. Видеокадры, конечно, сами по себе красивые и эстетичны, и Распутин, думається, неправ, телевидение у нас еще жутко смиренное, но начинать надо с азов, как это сделал недавно наш дошколяцкий журнал «Зилите», — с простеньких наивных картинок для детей про половую жизнь. Так и должен выглядеть первый шаг. Но — ни у кого нет ни времени, ни терпения, все ударились в политику.

Вообще эротика — часть всякой культуры, и это не только эстетическая, но и этическая категория. Жизнеутверждающая в том числе. Возьмем, к примеру, историю танца.

Ясно, что танец — это пересозданная и социализированная эротическая игра, которая трансформировалась в культуре. Где живы элементы этой игры, где чувствуется ее основа, там настоящее, подлинное искусство. И я им наслаждаюсь. А если перед нами искусство до предела социализированное или псевдостилизованное, то от него веет холодом. Мне неинтересны бальные танцы — от начала до конца сделанные, по-моему, или советизированные танцы ансамбля «Дайле», лишенные натурального эротического корня, плоские до невозможности. В балете — голландском, испанском, иногда в латышском — эротическая игра еще присутствует. Всегда готов смотреть «Кармен», ряд других постановок. Поскольку в разных видах искусства и в литературе нет этого чуда, постольку об искусстве не может быть и речи.

— Выбор между порно и эротикой — это вопрос культурного уровня!

— Порнографию надо знать. Например, ты, как журналистка, должна знать, что это такое. Порнография, возможно, необходима части мужчин, поднимает потенцию. Но в целом это сфера движений. Эротика — это предшествующий этап. Если расчленишь и проанализировать весь процесс, то все самое интересное — до и после. Какова свобода человека, каковы его чувства — вот что меня интересовало.

— Как-то в частном такси я увидела прикрепленный к ветровому стеклу блокнотик с почти нагой сексапильной блондинкой на обложке. Всю дорогу опасно косилась на шофера — не извращенец ли? Я что-то читала о вуайеризме — это когда мужчина удовлетворяется подглядыванием за сексом других, ну, в частности картинками, фильмами...

— Тогда и «Плейбой» — предмет вуайеризма. Но у него тираж 35 миллионов, это самый популярный журнал в мире. И серьезные, кстати, там работают профессионалы высокого класса. Наташа Негода, снявшись в нем, заработала балл для России, ну а что касается «измов», то главное — детей уберечь. И все. Правда, в одном западногерманском магазинчике я увидел самые разные журналы, были там и всякие видеокассеты, смотри хоть на месте. И женский секс, и мужской, и прочие. По-моему, будь все это никому не нужным, Запад давно бы от этого отказался. Половых преступлений у них, между прочим, намного меньше, чем у нас. Потому что люди с болезненными реакциями, обусловленными подчас чисто биохимическими сдвигами, достигают рядышки вот в таких лавчонках и киношках. Чем скорее мы отбросим предрассудки на этот счет, тем лучше. Но должны быть обеспечены и все остальные свободы. А не гастроли, в море ханжества и лицемерия некоего театра эротика, где кривоногую мам-

зель мажут сметаной. Уж лучше «Эммануэль» — да, эротика, да, пропаганда свободной любви, но хотя бы «сдобное». Что касается сексуальных извращений, то повсюду в мире признано, что в их основе лежит биогенетика. Извращения существуют, но за рамками нормальных систем.

— Ну да, моя дочурка держит у себя на полке тот самый номер «Зилите». Кто-то вырастает на брелочках и календариках, которые продаются в любом газетном киоске. А мы с тобой росли совсем по-другому.

— Мы воспитаны главным образом на запретах. Нельзя, не смей, не смотри, не кури, не разговаривай, «кэ-э-к стоишь?!». Наша культура базировалась на запретительных знаках. Уж я-то в детстве наглотался совлитературы, как вспомнишь, чем нас пичкали, так вздрогнешь. А парткомы, где разбирались интимные вопросы, разводы, измены? — тоже ведь воспитаныце. Все в духе сплошных запретов. Вот и выросли мы уроды уродами. Последствия куда ужаснее, чем кажется на первый взгляд. Хотя у каждого был, конечно, свой путь.

Я, например, рос в типичной латышской семье, на селе, в Цесисском районе. Как говорится, в добропорядочной обстановке, где царил устойчивый настрой о жизненных ценностях. Мама моя была сельской учительницей. Я занимался спортом, входил в сборную республики, поехал по Латвии, по стране. Может, благодаря этому быстрее взрослел, входил в жизнь, кругозор был пошире, чем у иных сверстников. Важно и то, что ты сам черпаешь из книг, фильмов, чем интересуешься. Опыт должен накапливаться естественно, без форсирования, чтобы потом человек не срывался с короткого поводка. Родители не строили мое воспитание на запретах. Чем больше у тебя информации, тем труднее сбить тебя с панталыку. Тут и Бог, по-моему, в смысле — «храни тебя, Господь». И если ты почувствовал, что этот мир достоин уважения, попытался понять, как живут люди, кто таков твой ближний, если стремился познать эту тайну бытия и досконально ее обдумать, значит, у тебя есть почва под ногами, тебя уже не «занесет». Я о тенденции. Но мужчина все же есть и будет охотник. Возможно, это древний инстинкт самосохранения, ему миллионы лет. И мужчине, если с ним все в порядке, всегда интересен противоположный пол — женщина. В нас, видимо, заложена вся мудрость народная, это и позволяет понять, какова ментальность латыша. Точнее, должна быть в нас заложена, но... но сегодня вся эта система не работает, глухо. Мы можем возвратиться к Конституции независимой Латвии, но мы не в состоянии вернуть себе внутреннюю конституцию латыша.

— Что еще на тебя повлияло, какие моменты!

— Я был всегда знаменитого «Шкафа» в прежней гостинице «Рига». Думається, в этом кабачке реализовывали скорее художественные, чем биологические амбиции. Слава богу, что был такой «Шкаф». Может, из этих заведений, своего рода неформальных клубов, подогревавших дух сопротивления, питавших останки былой интеллигентности и поддерживавших какой-то уровень информированности, и произошло нынешнее пробуждение. У меня, впрочем, было любимое выражение — настоящий талант пробьется и при развитом социализме. В «Шкаф» ходило немало латышской интеллигенции, людей со своим этическим ядром.

— Но кое-кто считал, что там сплошная богема и что мужчины и женщины слетаются туда, как ночные бабочки на огонек, чтобы найти себе партнера, хотя бы на одну ночь.

— Конечно, бывали в «Шкафу» и всякие подонки. Мне искренне жаль тех, кто там спился, но, слава Богу, таких было не слишком много. Да, за столиками сколачивались стихийно, вдруг веселые компании, ехали куда-нибудь догуливать. Такая, знаешь, жизнь была у нас — держаться вместе и особо не размысливать. Казалось, все, что вокруг, — навеки. Брежнев — ну просто Кощей Бессмертный. Но, я думаю, внутренне интеллигентный человек допускает и подобное общение тоже. Мужчины, женщины могут быть одиноки, их может обуревать желание выразить себя именно телесно, биологически. Просто в любых обстоятельствах надо оставаться человеком. Я тут не оправдываю случайные связи, но готов повторить — подлинная интеллигентность допускает и это. Бывает, надо пожалеть другого, а иногда хочется, чтобы и тебя пожалели. Не знаю, думают ли так, как я, другие мужчины, но я всегда считал своим долгом, как это ни странно звучит, полюбить и приласкать женщину. Потому что, вопреки внешнему благополучию и тому подобному, любой человек одинок в этом мире. Разумеется, такими вещами не хвастают. Нельзя выставляться. Есть, конечно, спортсмены до мозга костей и в этом деле, они щелкают костяшками, и меньше трехсот не в счет. Тут спортсменом я не был.

— Встретить такого мужчину, как ты, — мечта. Но мне хочется, чтобы общество и сами мужчины поняли, что вполне нормальная женщина может позволить себе красивый миг, не спрашивая, а что потом. Многие этого себе не позволяют только потому, что боятся оскорбительных ярлыков. Лишь однажды мне довелось услышать от мужчины: «Раз я переспал с женщиной, я не имею права говорить о ней, как о...». Сам знаешь. Но в действительности все бывает наоборот, разве нет!

— Нет, пожалуй. Я встречал женщин (они, возможно, были интеллектуальнее и свободнее), у которых было просто человеческое желание. И только от человека самого зависит, может ли он, не испытывая серьезного увлечения, а тем более всепоглощающей любви, устроившись проснуться и сказать лежащему рядом: «Доброе утро!». Если же говорить о девичьей нравственности, то я всегда полагал, что не следует ложиться в постель в первый же вечер и что мужчина должен обладать чувством ответственности. Коли видишь, что вы не поймете друг друга или она отдается тебе из какой-то покорности либо ложно понятой общительности, не допускай этого, будь нормальным, уважающим себя человеком. По крайней мере я старался так и поступать в своей греховной практике.

— Мужчины, как я слышала, довольно легко судят о нравственности женщины. По каким признакам мужчина отличает порядочную женщину от... непорядочной!

— Это вопрос о шлюхе-любителнице и шлюхе-профессионалке. Последняя становится таковой по призванию, может, психофизиологически так устроена и осуществляет свои желания независимо от того, замужем она или нет, есть ли у нее дети, каково ее положение в обществе. А первая, может, начиталась «Великого Гетсби» или чего-нибудь в этом роде либо подражает, обезьянничает, чтобы выглядеть «по-западному», хотя ей самой это вовсе и не нужно. Просто чтобы казаться современной. Тут и сексуальный «взрыв» среди выпускниц школ, «комплекс первого курса» — выросшим на селе девчонкам страсть как хочется переплюнуть городских и тем самым побыстрее войти в новую для себя среду, преодолеть застенчивость. Когда нет критериев жизненных ценностей, нет опыта и интеллигентности, перенимают внешнее, то, чему легче подражать. Девочки начинают курить и, перекрестившись на образа, погружаются в пучину все глубже и глубже, а когда доходит до этого, переживают. Проблема города и деревни была всегда и во всем мире... Как различают тех и других? Трудно сказать, кожей, видать, чувствуем.

Вообще женщины и девушки, если они осознают свое «Я», свою роль в обществе, свое предназначение, конечно же, должны блюсти себя. Но — с умом. Монтень говорил, что женская скромность украшает, но когда украшений чересчур много — это дурной вкус. Я все о той же интеллигентности. Сверхжеманная и наигранная нравственность может вызвать в ответ у человека, маниакально добивающегося своей цели, приступ агрессивности, мол, захочу — сломаю. Мне тоже когда-то хо-

телось при виде чудовищного чистоплюйства, таких вежливых недотрог, наговорить в лицо грубостей. Ложная нравственность не лучше разврата. Из всех видов распутства духовное — самое ужасное, а духовная проституция — самая презренная.

— Скажи, ты мог бы подружиться с женщиной, чьи взгляды на секс отличаются от общепринятых!

— В молодости мои сослуживцы, во всяком случае многие, считали меня бабником, так как по натуре я человек общительный, легко вхожу в контакт и, может быть, позволяя себе слишком много вольностей для совдеповских условий. Вообще говоря, любое нормальное общение или обыкновенная беседа сразу обнаруживают, присуща ли человеку сексуальная свобода или нет. Если у него нет этих сексуальных проблем и предрассудков, общаться с ним легко и просто, а коль уж есть, то и о погоде не поговоришь, все с ужимками да прыжками. Это моментально чувствуется, когда попадаешь в незнакомую компанию, а общение между собой нормально устроенных людей вообще именно этим и определяется.

Некоторое время тому назад я по случаю просматривал картотеку рижских проституток. В СССР и среди зарубежных моряков наши проститутки, между прочим, котируются выше прочих в Союзе. Это объясняется как географическим положением Риги, так и той дозой информации, которой располагают рижанки, насчет того, что и как в мире «делается» — она несколько выше, чем в других регионах страны. Обеспокоило меня то, что среди фигурирующих в списке представительниц древнейшей профессии слишком уж много работниц медицины и просвещения; есть преподавательницы университета, медсестры, студентки педучилищ, вузов. Они зарабатывают на этом деле как минимум 200 рублей в день, что ж — может, это их и оправдывает. Женщина, допустим, предрасположена к шампанскому и кайфу и получает за это деньги. Упрекай не упреквай, но в нашей экономике абсурда честным трудом ничего не заработаешь. Когда изменится экономическая ситуация, в рядах проституток останутся, я думаю, только те, для кого это призвание.

Отношение к лесбиянкам? В отличие от мужеложства, что не для меня, женщин я больше понимаю. Опять-таки нельзя сбрасывать со счетов груз социальных причин: с одной стороны, алкоголики, затурканые и замурзанные мужики на крошечной зарплате, с другой — женщины как чудо. Плюс полотна Видберга или сильные впечатляющие фильмы про лесбиянок, где все это психологически обосновывается, — поневоле начинаешь их понимать. И если даже не понимаешь, все равно относишься без

ненависти и возмущения. Женщина для меня как бы воплощенное чудо. И этой богине я готов простить или по крайней мере понять, почему она равнодушна к такому грубому созданию, как мужчина. Пускай они лучше любят друг дружку, чем какого-то кретина в записанных штанах.

— Теперь болтают все больше не о том, кто стукач, а о том, кто гомики. Откуда столько голубых развелось!

— Об этом почти с истеричностью полнотой высказался главный сексопатолог республики Э. Аганов, которого я интервьюировал в прошлом году для журнала «Лиесма». Что я могу прибавить, если ребенок, скушавший отравленный пестицидами помидор, может стать гомосексуалистом! Не только поэтому, конечно. От социальной обусловленности этого явления нам тоже не уйти. Где-то должен был сорваться вентиль. А тут еще Рига, какой мы ее знаем сегодня.

— Мне кажется, социальные «пожиратели» нас все больше и больше. Не пора ли вернуться к забытой истине, что отношения между мужчиной и женщиной — это общечеловеческие непреходящие ценности, как о том напомнила нам недавно художница Айя Зариня. Я, например, в молодости очень хотела быть эмансипированной и вела себя соответственно. Меня даже оскорбляло то, что женщины оценивают сначала по внешней красоте или стройности ног, а не по уму и таланту. Сегодня, пожалуй, больше хочется, чтобы во мне видели прежде всего женщину, но я уже вынуждена вступать в отношения, диктуемые социальными ролями.

— Да, такая проблема существует. Это и проблема, а фактически, беда сельской интеллигенции. Сам видел, как женщины с вузовским дипломом приезжают на село и очень высоко себя ставят — как же, образованные. А за кого прикажете замуж выходить? За механизатора, в лучшем случае выпускника техникума. Часть из них так и остается старыми девами, что им делать-то? Как говорил персонаж наших довоенных лубочных романов Олд Ваверли: «Лучше поздно, чем никогда, сказала старая дева и села на гвоздь». Да простят меня старые девы! С другой стороны, человек перерос уровень той среды, того общества, в котором он живет. Могут ли я бросить в этих женщин камень? А если это маяки, которые освещают эстетический путь всей нации, сами усыхая, как дерево? Нередко такие женщины находят себя в литературе, живописи, а особенно в науке, и не просто работают, скажем, в библиотеке, но выполняют возложенную на них миссию. Что будет, если из духовной структуры Латвии изъять женщин? Пустота. И спасибо им, поскольку им самим труднее всего приходится. Я много размышлял об этом, с сочувствием и пониманием. Есть и другие женщи-

ны — они пытаются интегрироваться, вписаться в это общество. И пьют вместе с мужиками, и дымят, и об автомобилях лялякают. Это трагедия. Поэтому для меня абсолютно неприемлемы насмешки над матерями-одиночками. Это дикое мещанство. Слава Богу, понемногу оно исчезает из нашей жизни. А в молодости остро чувствовалось, и не составляло никакого труда плыть по течению и примкнуть к хору осуждающих голосов. Женщина с высокими моральными критериями действительно становится кем-то наподобие чеховской героини. Она слишком рано явилась в наше общество и сгорает в нем, как свеча. Не приведи Господь сделаться ей записным педантом, завистливой интриганкой или сойти с ума. Все это только лишний раз показывает, какое у нас больное общество. И матерей-одиночек, если они не распоследние распутницы или обыкновенные дебилки, я уважаю и всегда их старался понять. В самом деле — чувствовал, что вот надо им помочь, надо их утешить. Это каждый мужчина должен понимать. Отсюда и мое отношение к лесбиянкам тоже.

— Да, но у медали есть и обратная сторона. Отношение общества к матерям-одиночкам изменилось, и их становится все больше. Именно в борьбе за жизнь часто чувствуют себя несчастливymi и мать, и ребенок. И все эти дети не знают, что такое мужчина в семье. Какими же вырастут эти мальчики и девочки, как будут строить свою семью! Уже сегодня ведутся разговоры о том, что главой семьи у нас вполне может быть и является женщина.

— Союз двоих должен основываться и на способности к самопожертвованию, на уступчивости. Человек может пойти на компромисс, но быть соглашателем, конформистом, предавать себя он не имеет права. Есть и такие мужчины, которые жертвуют собой ради жен, и это нормально. Мне кажется, механическое ощущение, что главой семьи непременно должен быть мужчина, — это снобизм или мещанство. В браке может не быть любви, но взаимное уважение для него обязательно. Конечно, чрезмерная эмансипация — тоже явление ненормальное. На Западе, например, она подчас доходит до совершенного абсурда. Там есть такие женщины, которым руку подать — нельзя, пальто подать — нельзя, показать, что она физически тебя слабее, — ни в коем случае! Независимость и самостоятельность превыше всего. Умом я это понимаю, но согласиться не могу. Мне глубоко омерзительны и те люди, которые поступают наоборот: паразитируют потому, что принадлежат к определенному полу. Мол, коли она женщина, так ты ей просто-таки обязан выплачивать...

— ... или он — вечно непонятый, не-

признанный и в собственной семье, и его надо жалеть, лелеять...

— Верно, есть такая категория мужчин. Некоторые девушки попадают на эту удочку. В микромоделе общества, которая существовала в «Шкафу», посмотрелся на это. Так что поосторожней насчет жалости. Не приходилось видеть такую картину: идет оборванный, спившийся, грязный мужчина, а рядом с ним красивая, элегантная женщина? Тут я всегда вспоминаю «Тюрьму» Ж. Сименона, описавшего похожую пару. Или мемуары М. Фриша — блестяще показано, почему у него, человека в возрасте, утратившего потенцию, могли быть отношения с женщинами. Или «Сцены супружеской жизни». После этой книги я многое для себя уяснил. Если бы нам и тут перекрыли кислород, трудно сказать, кем бы мы сейчас были, не зная культурно-исторического опыта человечества. Сравнение: мы как бы сидели в спичечном коробке и глядели в дырочку. Когда глядишь оттуда в дырочку, угол зрения гораздо шире. А один писатель сказал, что главное — угол, а не размеры. Для нас это было спасением.

— Эти книги частично компенсировали наш сексуальный интерес, образование, но ведь часть людей книг вообще не читает. Не потому ли так популярны разговорчики о том, кто с кем спит. Мне кажется, достаточно пройтись с мужчиной по улице или, не дай Бог, зимой взять его под руку, чтобы не поскользнуться, как всем уже вся ясно...

— Что ж, на подозрительности строилась вся идеология. Подозрительности, наговорах, интригах, доносах. Породить такую атмосферу и закрепить ее — одна из задач тоталитарного, пирамидального по своей структуре общества, с тем чтобы, опираясь на низменные инстинкты, можно было все сверху регулировать и контролировать. Осознанно или нет, но всякая диктатура, любая монополия стоит на том, что человек не позволяет себе быть свободным. А отсюда и мещанство, пьянство, разврат. Тот, кто не интересовался хоккеем и не прикладывался к рюмке, занимался сплетнями и оговорами. Это целая чехистская империя быта. Пусть лучше человек будет мелким, но ни в коем случае не свободным. Мне жаль времени, потраченного на перемирование косточек возможным стукачам, педерастам и иже с ними. Сколько энергии израсходовано впустую. Мне жаль времени, которое нормальные люди сегодня тратят на критику компартии. Хорошо сказал журналист И. Бите — незачем пинать ногами полутрупы и заниматься некросадизмом. Хотя и я не свободен от этой привычки. Всю бы эту энергию, это подло растраченное время да на какие-нибудь конкретные действия! Чем старше становился,

тем больше понимаешь, что все это было ни к чему!

— И все же мне представляется, что нравственность рухнет, причем с каждым днем все больше и больше. Слышишь и видишь такое, что невольно думается — мир перевернулся вверх тормашками. Отношение к женщине дошло до самой низкой точки. В то же время в детском санатории двенадцатилетних мальчишек предупреждают — избегайте старших девочек (на пару лет всего старших), потому что тащат в кусты.

— У народа или общества есть все-таки инстинкт самосохранения. Должен существовать некий космос, кладущий предел — вот до этой черты, и не дальше. Допускаю мысль, что происходящее сегодня, в том числе и нарушение моральных норм, именно потому актуализируется, выступает на первый план, что это вызов обществу, которое должно занять по отношению к таким явлениям определенную и непреклонную моральную позицию. Общество к этому подталкивается. У самых диких народов, заметь, всегда существовал этический идеал, священные традиции есть и у варваров. Я часто задумывался над тем, что на Западе съемки эротических и порнофильмов нацелены — объективно, так как у их продюсеров могут быть другие цели — на снос любых преград, воздвигаемых этими святынями, и тогда — именно благодаря таким усилиям — эти святыни как бы автоматическим воспроизводятся. Получается отрицание отрицания. И если общество неспособно создать противодействующую силу, не находит, что противопоставить, то оно, в конце концов, недостоинство своего существования. Все логично, все идет так, как и должно идти. Мы, конечно, можем подсуетиться, засучить рукава, мы не муравьи, разумеется, но — не следует драматизировать ситуацию. В природе своя роль и у выродков. Уродства для того и появляются, чтобы на них обратили внимание. Механизм самоочищения присущ и человеческому обществу.

— Теперь подумывают об организации психологических служб. Возникла, говорят, острая потребность в психоаналитиках, сексопатологах. Что дают эти службы?

— Все это имитация деятельности. Если нет твердого фундамента, а конкретно в Латвии — если этот фундамент не заменен, то все это обречено быть толчением воды в ступе. Это не более чем извращенный инстинкт самосохранения данного извращенного общества. Как приспособиться не меняя системы. Вопрос о нравственности и сексуальной культуре человека — это и политический вопрос. Как видишь, мы все время упираемся в политику. Увы.

— Недавно я прочла, что религия — это тоже модель культуры. О религии говорят все больше, она у всех на слуху. Может ли она способствовать возрождению человеческой морали!

— Думаю, в качестве средства — да, но в качестве цели — нет. По-моему, последние 2000 лет в достаточной степени продемонстрировали изъяны религии, в частности ее малую активность и недостаточное уважение человеческой личности. Есть сентенция — Бог сделался Человеком, чтобы человек стал Богом. Христианство этим гордится. Но, на мой взгляд, надо поменять акценты. Человек должен сделаться Богом, чтобы Бог стал Человеком. Может, это абсолютно неприемлемый для традиционного религиозного сознания тезис, но я сам дошел до этой мысли и считаю, что такой подход позволяет плодотворно участвовать в процессе морального возрождения. При такой постановке вопроса нам, возможно, удалось бы разрешить проблему необходимости религии, ибо в ней тоже масса недостатков. Быть может, я — язычник, но мне бы не хотелось от коммунизма к теократическому обществу переходить к теократическому. Интересно было бы послушать кого-нибудь из духовных лиц по проблеме взаимоотношений божественного и человеческого начал или, скажем, о сексе.

— Существует ли для тебя идеал женщины? Идеалы обычно формируются в ранней юности под влиянием прочитанных книг, увиденных фильмов, спектаклей.

— Когда-то у меня такой идеал был. И идеал должен оставаться идеалом. Звезда должна оставаться звездой. А если спишь со звездой, ты астролог. Поэтому надо кое-что оставить «недо...» — чтобы было к чему стремиться, был простор для воображения. Но ежели тебе кажется, что идеал в жизни уже найден, ты просто сам себя обкрадываешь. Все зависит, конечно, от характера, строения, степени усталости, информированности, испорченности наконец. Подростком мне хотелось походить на Холдена из книги Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Чувак был что надо, малость высокомерный и жутко терпеть не мог дешевые чемоданы. Я все думал, откуда у него эта снобистская черта, потом понял. Одно время моим идеалом была такая женщина, которая встречала бы меня в пеньюаре, бросалась на шею с криком, с воплем — милый, как здорово, что ты пришел! В другой раз я тосковал по интеллектуальной женщине, с которой можно обо всем поговорить, поделиться сомнениями и раздумьями. Как бы там ни было, женщине в первую очередь следу-

ет быть женственной и очаровательной. Без этих качеств она меня совершенно не интересует. И в ней должна быть тайна. В конце концов женщина должна быть умна как женщина, а не быть «умной женщиной». Соскучился по уму — припадай к философским трудам, иди на толковище с друзьями и коллегами.

— Пожалуй, самые устойчивые впечатления — это впечатления подростка. Мужчины и женщины порой всю жизнь ищут воплощения тех представлений, которые сложились у них под воздействием прочитанного, увиденного и услышанного в переходном возрасте. Помнится, посмотрела фильм «Красная мантия», и потом долго мне нравились мужчины типа Олега Видова. Фактически я и сейчас люблю сдержанных в своих эмоциях северян со скрытой страстностью. Но охотно променяла бы их и на Жерара Депардье. Одна моя подруга мучительно искала в жизни своего Рета Батлера. В свою очередь я часто ловила себя в разных ситуациях на подражании Кристине из «Невозможного брака» П. Хенсфорд-Джонсон. Мне очень нравятся независимые манеры Анни Жирардо и Джейн Фонда. Посмотрев фильм с их участием, я чувствую, как у меня поднимается настроение и уверенность в себе.

— Это бесконечно банально, но мне всегда казалось, что я бы, конечно, не отказался побыть в шкуре Алена Делона. В нем есть мужская хватка, в нем сидит тот самый охотник, и умом он тоже не обделен. А что касается секса, то тут я стопроцентный «сельист». Ганс Селье говорил примерно так: я бы хотел погибнуть в возрасте девяноста пяти лет от пули ревнивого мужа, заставшего меня в постели со своей женой. Все эти типы — тоже механизм саморегуляции общества. Людям во всякое время нужна какая-нибудь Мэрилин Монро.

— Что можно считать в этом плане приметами времени!

— Чрезвычайно малоисследованный вопрос. Но выяснить его для малочисленного народа было бы очень интересно. Входящие в моду типы женщин — наше собственное зеркало. Это заметно хотя бы по манекенщицам. Еще одним индикатором могли бы послужить регулярные конкурсы королев красоты. Ведь мы сознательно или неосознанно выбираем чаемый типаж. В пределах возможного, разумеется. Со временем типаж меняется. Латыши знают, что «имидж» Элзы Радзини — не то, что Виы Артмане. Сегодня в Латвии такого символа общественного идеала женщины просто нет. В 60—70-е годы

он опять-таки был иным. Например, фильм «Слуги дьявола»: Дреге, Индриконе. Витальность, которая прорывалась в тайном праздновании Лиго, в застольях с обильным питием, в ругани по адресу русских, — все это поддерживало у латышей тонус. Потом Озолия, Кайриша: женщина-страдалица, несколько подавленная, загнанная в себя, замкнутая на своих мыслях и переживаниях, как все наши женщины.

— Мисс Рига тоже довольно точно воплощает в себе внешний облик современной рижанки — красивая, но не латышский тип. Теперь появилась мисс Латвия. Но наряду с этими визуальными знаками времени можно видеть и многое другое. Когда на сцену вышла Лайма Вайкуле, мне подумалось, что впервые в так называемой «советской эстраде» возникла женщина, в которой ощущается нескрываемая чувственность.

— Это было уже у Пугачевой, только в вульгарном проявлении. Вайкуле более или менее присуща интеллектуальная чувственность, она живет на сцене жизнью неглупой женщины. Это трудно объяснить, тебе кажется, что тут просто совпадение, но в большей или меньшей степени эти символы наших желаний и стремлений закономерны, неслучайны, связаны с идеологией.

— Мне вспомнился бывший президент Франции. Как по-моему, кто из появляющихся чаще всего на публике общественных деятелей Латвии излучает нормальную человеческую сексуальность? Можешь назвать конкретных людей!

— Из мужчин, полагаю, секретарь ЦК Иварс Кезберс. В нем ощущается основательность и твердость. И этаким блеск в глазах. Между прочим, это не только мое мнение. Из женщин скрытая, интеллектуальная сексуальность мне всегда чудилась в художнице Джемме Скулме. Она вся в этом, ты чувствуешь, что это женщина, в ней есть шарм. И возраст тут ни при чем. А это самое ценное.

— Поразительно, но я бы назвала те же фамилии. И не знаменательно ли — глядя на любого мужчину или женщину, кем бы он (она) ни были, мы в первую очередь ищем в глазах, выражении лица и жестах что-то человеческое, не правда ли? И бываем обрадованы и расстроены, если находим...

— Только через человеческое начало и возможен поиск взаимопонимания в нашем обществе, в нашем извращенном мире. Без этого мы ничто. А биография любого человека — это и его сексуальная жизнь.



ПРОЛЕТАРИАТ И ЗАПОВЕДИ

Я убежден, что первая реакция по прочтении публикуемых отрывков из книги проф. А. Б. Залкинда «Революция и молодежь» (М., 1924, Издание Коммунистического университета им. Я. Свердлова) совпадет у читателя с моей — это будет смех. Действительно, как не рассмеяться при чтении формулировок типа: «Половая жизнь как неотъемлемая часть прочего боевого арсенала пролетариата» или «Половое влечение к классово-враждебному объекту является таким же извращением, как и половое влечение человека к крокодилу или оранг-утангу». Но при перечитывании текста впечатление как-то неуловимо меняется — появляется ощущение кромешного ужаса и кошмара. Этому способствует, во-первых, фразеология профессора, которая насыщена оборотами «беспощадно преследовать», «воспитывать в революционном духе», «жестоко карать», и вся атмосфера книги, а во-вторых, та концепция полового воспитания подрастающей «красной молодежи», или «молодняка», как по-пастушески нежно обзывает автор молодое поколение, которая предлагается в труде. Необходимо особо отметить, что автором предлагается именно целостная концепция, основанная на трудах «классиков», проведение которой в жизнь должно было обеспечить победу революционному пролетариату и, главное, «действительной власти трудящихся — администрации, партии и профсоюзам».

Справедливости ради следует сказать, что в предисловии к книге, написанном ректором Комуниверситета М. Лядовым (авторитетным коммунистическим ученым, автором первых работ по истории партии), говорится о дискуссионной направленности труда Залкинда, а также о том, что некоторые положения автора «покажутся кой-кому спорными». Но эта безоценочность предисловия, написанного высокопоставленным научным работником, вполне компенсируется советом обсудить книгу в каждом молодежном кружке и большим по тем временам тиражом (10 тыс.). И все-таки можно ли всерьез рассматривать предложенную автором концепцию? Ведь в любом учении бывают крайности, которые не являются показательными для учения в целом, и можно представить, что перед нами лишь оторванные от жизни мечтания и умозрительные схемы автора-марксиста. Но так ли это? Не является ли этот труд доведением до крайности в теории большевистской практики?

Двенадцати половым заповедям предшествует изложение основ новой этики — этики пролетариата. Автор предлагает свою интерпретацию практических нравственных заповедей Ветхового Завета, что придает его положениям ярко выраженную антихристианскую направленность. С точки зрения революционной целесообразности заповеди теряют смысл и превращаются в свою противоположность. Вместо «не укради» предлагается ленинская формула «грабь награбленное». Автор объясняет её русским видеоизменением марксовой «экспроприации экспроприаторов» и при этом не чувствует никакой разницы между этими призывами, хотя второй из них звучит хотя бы элементарно цивилизованно, в то время как первый отдает просто бандитизмом. Но именно это различие и характеризует

разрыв между реформаторским учением Маркса (в лучших его сторонах, пока оно остается теорией и не становится основой партийной борьбы со всей присущей последней ложью и завуалированными махинациями) и его осуществлением в русской революции. Мелкие руководители революции, т. е. основная сила в массах (типа булгаковского Шарикова), слышали этот характерный нюанс в ленинском лозунге, оправдывающий по существу грабеж богатых (когда богатым считался всякий, кто богаче грабящего). Да и ух высших партийных руководителей (типа Сталина с его партийно-преступным прошлым «экспроприатора») не пропускало этих оборотов ленинской мысли в своих расчетах и планах осуществления тиранической власти и установления в стране тоталитарного режима. Особенно зловеще-пророчески звучат пролетарские аналогии заповедей «чти отца своего» (подготовка общественного мнения к подвигу Павла Морозова) и «не убий». Пролетариат, по теории Залкинда, должен отбросить ханжество и поделовому, диалектически подойти к убийству. Убийство может быть этическим, когда оно совершено во имя Революции, то есть как «убийство, совершенное организованно классовым коллективом — по распоряжению классовой власти». В этом случае единственным основанием для убийства человека или множества людей становится указание этой самой власти (администрации и партии, как неожиданно честно признается Залкинд). Это — политическое оправдание как бывшего, так и будущего красного террора с его десятками миллионов жертв. (Не менее характерно замечание, что в критической ситуации необходимо сначала убить, а уже потом **отчитаться** перед классовым органом — даже не оправдаться, а только отчитаться.) Но дальше наш замечательный и правдивый профессор, не ведая, что творит, дает и **философское** обоснование массового террора — «метафизической самодовлеющей ценности человеческой жизни для пролетариата не существует».

Когда наш автор переходит, наконец, к «половой платформе пролетариата» и предлагает совершить «организованную перестройку половых норм», то это кажется уже просто мракобесием (игрой бевос во мраке, тотальным безумием). Но здесь тоже все тонко продумано, и в этом просматриваются вполне определенные цели. Все заповеди можно разделить на главные и побочные, которые должны были привести и привели к неравнозначным результатам. Центральной заповедью является, безусловно, последняя, кульминационная: «Класс, в интересах революционной целесообразности, имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов». Эта заповедь в открытую проповедует наступивший тотальный государственный режим, одной из основных характеристик которого является повсеместное вмешательство в частную, в том числе интимную, жизнь граждан, в пределах уничтожение этой частной и интимной сферы.¹ Это строй тотального государственного построения этого строя власть так и не добилась, частично он все же

«работал», как, например, в разборе вполне интимных семейных ссор на партийных и комсомольских собраниях. Но через теорию тотальной организации половой жизни товарища Залкинда просвечивают и многие другие важнейшие характеристики «передового социального учения», как-то: исходный утопизм целей, жесткий и слепой рационализм в устройстве общества, стремление достигнуть рая на земле исключительно человеческими усилиями, сведение человеческого счастья к достижению материальных благ и чувственных удовольствий (ценой самоограничения на первом, революционном, этапе — героическая нищета), вера в действенную силу директив и вообще магическое отношение к слову (когда слово в сознании говорящего уже является делом) и т. д., и т. п.

Это — главная заповедь. Но не менее интересны и остальные, которые если не были осуществлены непосредственно, то привели к предсказанным побочным результатам. Я уже сказал о Павлике Морозове. Здесь можно вспомнить и Пашу Ангелину с ее тракторными рекордами, которые уж во всяком случае не способствовали возрастанию в ней женственности. У товарища Залкинда мы найдем обоснование и этому советскому феномену: «Бессильная хрупкость женщины ему (революционному половому подбору. — А. К.) вообще ни к чему: экономически и политически, т. е. и физиологически, женщина современного пролетариата должна приближаться и все больше приближаться к мужчине».

Другой побочный результат. По последней публикации мы узнали, что Берия (и далеко не он один), желая удовлетворить свои неумеренные желания, объяснял женщинам, от которых требовал сожительств (чаще всего замужним), что состоять любовником столь важной государственной персоны — большая честь. У товарища Залкинда мы найдем вполне научное классовое обоснование аргументов Берия: «Если уход от моего полового партнера связан с усилением его классовой мощи, если он (она) заменил(а) меня другим объектом, в классовом смысле более ценным, каким же антиклассовым, позорным становится в таких условиях мой ревнивый протест». Здесь налицо перерождение с ног на голову всяческих нравственных критериев.

У А. Залкинда и ему подобных можно много еще найти откровенно высказанных заветных мыслей. Я же ограничусь в конце одним примечательным моментом. А. Залкинд выражает удовлетворение тем, что «кое-где отдельные смелые, крепкие группы пытаются уже связать себя определенными твердыми директивами в области половой жизни». Не напоминают ли эти половые директивы сегодняшнюю страсть к законам, часто совершенно безумным и невыполнимым, как закон о молодежи, о гласности и др? Скоро мы сочиним Закон о Правде, или Закон о Свободе, или, в конце концов, Закон о Любви и Счастье. Уверен, что в нашей поистине трагической ситуации лучше ослабить мертвую хватку государства, и тогда все эти нормальные и естественные человеческие отношения будут регулироваться сами собой, свободными людьми.

¹ Такой результат блестяще продемонстрирован в романах Е. Замятина и Дж. Оруэлл.



Т. Еремينا. Плакат.
Т. Iérimina. „Encore plus de femmes dans les Soviets“
Affiche.

Любовь

В

секс

Т. Еремина. Плакат.
Т. Iérimina. „Encore plus de femmes dans les Soviets“
Affiche.



А. ЗАЛКИНА

ДВЕНАДЦАТЬ ПОЛОВЫХ ЗАПОВЕДЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЛЕТАРИАТА

Старая нравственность умерла, разлагается, гниет. Эксплуататорские классы, создавшие ее для себя, для своей самозащиты, больше истории не нужны, и подавляющее большинство человечества начинает вести себя совсем не так, как буржуазии хотелось бы. На авансцену истории выдвигается новый господствующий класс, — он начинает строить свои собственные правила поведения, свою этику.

Этика, нравственность всегда была сборником фактических правил классовой самозащиты; она учила, как следует поступать в том или ином случае с точки зрения **классовой целесообразности**. Такой же, очевидно, должна быть и будет новая классовая этика, — **этика пролетариата**; она должна дать **правила поведения, полезные с точки зрения революционно-пролетарской целесообразности**.

Этика исчезнет лишь тогда, когда сгинет и классовая борьба, так как в этот исторический период не понадобится уже особых правил для особого, «классового» поведения, противопоставленного другому, враждебно-классовому поведению: коллективизированное человечество будет пропитано общими, едиными устремлениями и будет регулироваться в своих проявлениях совершенно иными законами, чем те, которые существуют в классовом обществе. Исторический период развития человечества перейдет тогда в исторический.

Для переходного же времени, для периода обостренной классовой борьбы пролетариата ему этика необходима. Какова же она?

Итак, **коллективизм, организация, активизм, диалектический материализм**, — вот четыре основных мощных столба, подпирающих собою строящееся сейчас здание пролетарской этики, — вот четыре критерия, руководясь кото-

рыми всегда можно уяснить, целесообразен ли с точки зрения интересов революционного пролетариата тот или иной поступок. Все, что способствует развитию революционных, коллективистских чувств и действий трудящихся; все, что наилучшим образом способствует планомерной организации пролетарского хозяйства и планомерной организации дисциплины внутри пролетариата, — все, что увеличивает революционную боеспособность пролетариата, его гибкость, его умение бороться и воевать, — все, что снимает мистическую, религиозную пленку с глаз и мозга трудящихся, что увеличивает их научное знание, материалистическую остроту анализа жизни, — все это **нравственно, этично** с точки зрения интересов развивающейся пролетарской революции, — все это надо приветствовать, культивировать всеми способами.

Наоборот, — все, что способствует индивидуалистическому обособлению трудящихся, — все, что вносит беспорядок в хозяйственную организацию пролетариата, — все, что развивает классовую трусость, растерянность, тупость, — все, что плодит у трудящихся суеверие и невежество, — все это **безнравственно, преступно**, — такое поведение должно беспощадно пролетариатом преследоваться.

Отсюда нам становится сейчас доступной и критика отдельных правил буржуазной этики. Мы можем любое правило поведения эксплуататорской этики заменить вполне конкретным, практическим соображением, направленным на защиту классовых интересов пролетариата.

«**Не укради**» эксплуататорской библии давно и хорошо было заменено этической формулой товарища **Ленина**:

«грабь награбленное», которая является лишь русским видоизменением Марксовой формулы: «экспроприация экспроприаторов». — Конечно, товарищ Ленин вовсе не освещал огульного грабежа, а лишь доказывал, что ограбленное буржуазией у трудящихся должно быть возвращено обратно трудящимся. Следовательно, здесь нет и речи о праве на кражу всяким у всякого. Все богатства принадлежат создавшим их, т. е. трудящимся, и потому трудящиеся имеют право использовать эти богатства для своих нужд: отсюда — экспроприация буржуазии в период военного коммунизма была этична, экспроприация Советской, т. е. трудовой, властью церковных ценностей, во время голода, была этична, как ни вопили против этих экспроприаций апостолы буржуазной этики, т. е. апостолы частной собственности. Но отсюда вовсе не значит, что бандит, нападающий на гражданина, хотя бы и нэпмана, и присваивающий себе его имущество, тоже поступает этично. Его поступок — грубейший, хамский индивидуализм, заключающийся лишь в переборке денег из одного собственного кармана в другой, собственнический же, карман. Поэтому такого бандита, как поступившего, с пролетарской, коллективистической точки зрения безнравственно, да еще подрывающего при этом авторитет пролетарской власти, нарушающего общественное спокойствие трудящихся, — пролетарская власть и будет беспощадно преследовать. Экспроприация экспроприаторов нравственна лишь тогда, если она идет на пользу всем трудящимся и пролетариата в первую голову, и если она организована выполняется по приказу действительной власти трудящихся (ее администрации, партии, профсоюза). Только такое «укради» — этично, нравственно, так как оно содействует благо пролетарского коллектива (**коллективизм**), стойкой организации его власти (**организация**), увеличению его боеспособности и сознательности (**активизм, материализм**).

«**Не убий**», — собственно говоря, для буржуазии — было ханжеской заповедью, т. к. она великолепнейшим образом убивала, когда это ей было нужно, и всегда получала потребное для этого божье благословение. Пролетариат — первый в истории класс, который не прибегает к ханжеству, — подойдет к этому правилу вполне откровенно, строго по-деловому, с точки зрения классовой пользы — диалектически. Если человек крайне вреден, опасен для революционной борьбы, и если нет других способов, предупреждающих и воспитывающих, на него воздействий, — ты имеешь право его убить, конечно, не по собственному решению, а по постановлению законного твоего классового органа (в минуты острой опасности, конечно, ждать такого постановления было бы бессмысленно, но ты всегда обязан потом немедленно отчитаться перед классовым органом в этом действии). Убийство во имя сведения личных, собственнических счетов, убийство по произволу — безнравственно с точки зрения пролетарской этики, преступно — должно жестоко караться пролетарской властью. Убийство злейшего, несправимого врага революции, убийство, совершенное **организованно** классовым **коллективом** — по распоряжению классовой власти, во имя **спасения** пролетарской революции — законное, этическое убийство, **законная смертная казнь**. Пролетариат не жесток и при первой возможности заменит казнь более легкой степенью наказания, если острота опасности притупится, но в этой замене нет никакого псевдофилософского ханжества, т. к. **метафизической самодовлеющей ценности человеческой жизни для пролетариата не существует**.

Для него существуют лишь интересы пролетарской революции, интересы борьбы за освобождение человечества от эксплуатации.

«**Чти отца**», — пролетариат рекомендует почитать лишь такого отца, который стоит на революционно-пролетарской точке зрения, который сознательно и энергично защищает классовые интересы пролетариата, который воспитывает детей своих в духе верности пролетарской борьбе: коллективизированного, дисциплинированного, классово-сознательного, революционно-смелого отца. Других же отцов, враждебно настроенных против революции, надо перевоспитывать: **сами дети должны их перевоспитать** (что и делают сейчас комсомольцы, пионеры). Если же отцы ни за что не поддаются этому революционному воспитанию, если они всячески препятствуют и своим детям воспитываться

в революционном духе, если они настойчиво пытаются сделать из своих детей узких хозяйчиков, мистиков, — революционным детям не место у таких родителей: после энергичной борьбы, если она оказалась безуспешной, дети этически вправе покинуть таких родителей, т. к. **интересы революционного класса важнее блага отца**. Самодовлеющего «отцовства» для класса нет, нет и самодовлеющего «почтения» отцов.

«**Не прелюбы сотвори**», — этой заповеди часть нашей молодежи пыталась противопоставить другую формулу — «половая жизнь — частное дело каждого», «любовь свободна», — но и эта формула неправильна. Ханжеские запреты на половую жизнь, неискренне налагаемые буржуазией, — конечно, нелепы, т. к. они предполагали в половой жизни какое-то греховное начало. Наша же точка зрения может быть лишь революционно-классовой, строго деловой. Если то или иное половое проявление содействует **обособлению** человека от класса, уменьшает остроту его научной (т. е. **материалистической**) пытливости, лишает его части производственно-творческой **работоспособности**, **необходимой** классу, — **понижает его боевые качества**, — долой его. Допустима половая жизнь лишь в том ее содержании, которое способствует росту коллективистических чувств, классовой организованности, производственно-творческой, боевой активности, остроте познания (на этих принципах и построены половые нормы, данные автором в статье ниже).

И т. д., и т. п., — из этих примеров мы видим, что организованный, активный и материалистически-сознательный коллективизм является нравственным оселком, на котором можно безошибочно испытывать революционную остроту, классовую правильность того или иного нашего поступка. Вся наша жизнь, весь наш быт должны строиться именно на этих принципах.

* * *

Всякая область пролетарского классового поведения должна опираться при проработке норм ее на принцип **революционной целесообразности**. Так как пролетариат и экономически примыкающие к нему трудовые массы составляют подавляющую часть человечества, **революционная целесообразность** тем самым является и **наилучшей биологической целесообразностью**, наибольшим биологическим благом (как мы в этом ниже и убедимся).

Следовательно, пролетариат имеет все основания для того, чтобы вмешаться в хаотическое развращение половой жизни современного человека. Находясь сейчас в стадии первоначального социалистического накопления, в периоде пред-социалистической, переходной, героической нищеты, рабочий класс должен быть чрезвычайно расчетлив в использовании своей энергии, должен быть бережлив, даже скуп, если дело касается сбережения сил во имя увеличения боевого фонда. Поэтому он не будет разрешать себе ту безудержную утечку энергетического богатства, которая характеризует половую жизнь современного буржуазного общества, с его ранней возбужденностью и разнузданностью половых проявлений, с его раздроблением, распылением полового чувства, с его ненасытной раздражительностью и возбужденной слабостью, с его бешеным метанием между эротикой и чувственностью, с его грубым вмешательством половых отношений в интимные внутри-классовые связи. Пролетариат заменяет хаос организацией в области экономики, элементы планомерной целесообразной организации внесет он и в современный половой хаос.

Половая жизнь — для создания здорового революционно-классового потомства, для правильного, боевого использования всего энергетического богатства человека, для революционно-целесообразной организации его радостей, для боевого формирования внутри-классовых отношений, — вот подход пролетариата к половому вопросу.

Половая жизнь, как неотъемлемая часть прочего боевого арсенала пролетариата, — вот единственно возможная сейчас точка зрения рабочего класса на половую

вопрос: все социальное и биологическое имущество революционного пролетариата является сейчас его боевым арсеналом.

Отсюда: все те элементы половой жизни, которые вредят созданию здоровой революционной смены, которые грабят классовую энергетику, гноят классовые радости, портят внутри-классовые отношения, должны быть беспощадно отменены из классового обихода, — отмечены с тем большей неумолимостью, что половое является привычным, утонченным дипломатом, хитро пролезавшим в мельчайшие щели — попушения, слабости, близорукости.

I. Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата — первая половая заповедь революционного рабочего класса.

Коммунистическое детское движение, захватывая с ранних лет в свое русло все детские интересы, создавая наилучшие условия для развития детской самостоятельности, для физического детского самооздоровления, для яркого расцвета любознательных, общественных, приключенчески-героических устремлений, приковывает к себе все детское внимание и не дает возможности появиться паразитирующему пауку раннего полового возбуждения. Тут и физиологическая тренировка, и боевая закалка, и яркая классовая идеология, и раннее, равное товарищеское общение разных полов, — преждевременному половому развитию вырасти при таких условиях не на чем. Поэтому первая задача пролетариата — не давать ходу ранней детской сексуальности, а для этого необходимо: указать родителям и школе на необходимость правильного подхода к социальным и биологическим интересам ребенка, всемерно содействовать такому подходу, — и употребить всю классовую энергию на наилучшую организацию массового коммунистического детского движения, на внедрение этого движения во все закоулки детского, школьного и семейного бытия. Оздоровление половой жизни детства сделает в дальнейшем ненужной столь трудную сейчас борьбу с половой путаницей зрелого возраста.

II. Необходимо половое воздержание до брака, а брак лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости (т. е. 20—25 лет) — вторая половая заповедь пролетариата.

А что же вредного, скажут нам, в половой активности до брака? Вредно то, что подобная половая активность не организована, связана со случайным половым объектом, не регулируется прочной симпатией между партнерами, подвержена самым поверхностным возбуждениям, т. е. характеризуется как раз теми чертами, которые, как увидим ниже, должны быть безусловно и беспощадно истребляемы пролетариатом в своей среде. Подобное, хаотическим образом развившееся, половой содержание никогда не ограничивается узкой сферой чисто полового бытия, но нагло вторгается и во все прочие области человеческого творчества, безнаказанно их обкрадывая. Допустимо ли это с точки зрения революционной целесообразности?

III. Половая связь — лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви.

Чисто физическое половое влечение недопустимо с революционно-пролетарской точки зрения. Человек тем и отличается от прочих животных, что все его физиологические функции пронизаны психическим, т. е. социальным содержанием. Половое влечение к классово-враждебному, морально-противному, бесчестному объекту является таким же извращением, как и половое влечение человека к крокодилу, к орангутангу. Половое влечение правильно развивающегося культурного человека впитывает в себя массу ценных элементов из окружающей жизни и становится от них неотрывным. Если тянет к половой связи, это должно значить, что объект полового тяготения привлекает и другими сторонами своего существа, а не только шириною своих плеч или бедер.

На самом деле, что произошло бы, если бы половым партнером оказался бы классово-идейно глубоко чуждый человек? Во-первых, это, конечно, была бы неорганизованная, внебрачная связь, обусловленная поверхностным чувственно-половым возбуждением (в брак вступают лишь люди, ориентирующиеся на долгую совместную жизнь, т. е. люди, считающие себя соответствующими

друг другу во всех отношениях); во-вторых, это было бы половое влечение в наиболее грубой его форме, не умеряемое чувством симпатии, нежности, ничем социальным не регулируемое: такое влечение всколыхнуло бы самые низменные стороны человеческой психики, дало бы им полный простор; в-третьих, ребенок, который мог бы все же появиться, несмотря на все предупредительные меры, — имел бы глубоко чуждых друг другу родителей, и сам оказался бы разделенным, расколотым душевно с ранних лет; в-четвертых, эта связь отвлекла бы от творческой работы, так как, построенная на чисто чувственном вожделии, она зависела бы от случайных причин, от мелких колебаний в настроениях партнеров и, удовлетворяя без всяких творческих усилий, она в значительной степени обесценивала бы и самое значение творческого усилия, — она отняла бы у творчества один из крупных его возбудителей, не говоря уже о том, что большая частота половых актов в такой связи, не умеряемой моральными мотивами, в крупной степени истощила бы и ту мозговую энергию, которая должна бы идти на общественное, научное и прочее творчество.

Подобному половому поведению, конечно, не по пути с революционной целесообразностью.

IV. Половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих.

К половому акту должным «не просто тянуть»: предвверием к нему должно быть обострившееся чувство всесторонней близости, глубокой идейной, моральной спайки, — сложного глубокого взаимного пропитывания, физиологическим завершением которого лишь и может явиться половой акт. Социальное, классовое впереди животного, а не наоборот.

Наличность этой социальной, моральной, психологической предпосылки полового акта повлечет к ценнейшим результатам: во-первых, половой акт сделается бы значительно более редким, что, с одной стороны, повысило бы его содержательность, радостное насыщение, им даваемое, — с другой стороны, оказалось бы крупной экономией в общем химизме, оставив на долю творчества значительную часть неизрасходованной энергии; во-вторых, подобные половые акты не разъединяли бы, как это обычно бывает при частом чувственном сближении, вплоть до отвращения друг к другу (блестящую, вполне реалистически правильную иллюстрацию дает этому Толстой в своей «Крейцеровой сонате»), а сближали бы еще глубже, еще крепче; в-третьих, подобный половой акт не противопоставлял бы себя творческому процессу, а вполне гармонически уживался бы рядом с ним, питаясь им и его же питая добавочной радостью (между тем, как голо-чувственный половой акт обворовывает и самое творческое настроение, изымая из субъективного фонда творчества почти весь эмоциональный его материал, почти всю его «страсть», на довольно долгий срок опустошая, бесплодив, «творческую фантазию»; это относится, как видим, уже не только к химизму творчества, но и к его механике).

V. Половой акт не должен часто повторяться.

Это уже достаточно явствует из вышестоящих пунктов. Однако последними мотивы пятой «заповеди» все же не исчерпываются.

Имеются все научные основания утверждать, что действительно глубокая любовь характеризуется нечастыми половыми актами (хотя нечастые половые акты сами по себе далеко не всегда говорят о глубокой любви: под ними может скрываться и половое равнодушие). При глубокой, настоящей любви оформленное половое влечение вызревает ведь как конечный этап целой серии ему предшествовавших богатых, сложных переживаний взаимной близости, а подобные процессы протекают, конечно, длительно, требуя для себя большего количества питающего материала.

VI. Не надо часто менять половой объект. Поменьше полового разнообразия.

При выполнении указанных выше пунктов эта «заповедь» и не понадобится, но обосновать ее следует все же особо.

а) Поиски нового полового, любовного партнера являются очень сложной заботой, отрывающей от творческих стремлений большую часть их эмоциональной силы; б) даже при отыскании этого нового партнера необходима целая серия переживаний, усилий, новых навыков для всесторон-

него к нему приспособления, что точно так же является грабежом прочих творчески-классовых сил; в) при завоевании нового любовного объекта требуется, подчас, напряженнейшая борьба не только с ним, но и с другим «завоевателем», — борьба, носящая вполне выраженный половой характер и окрашивающая в специфические тона полового интереса все взаимоотношения между этими людьми, — больно ударяющая по хребту их внутриклассовой спаянности, по общей идеологической их стойкости (сколько знаем мы глубоких ссор между кровно-идеологически близкими людьми на почве полового соревнования).

VII. Любовь должна быть моногамной, моноандрической (одна жена, один муж).

Это отчетливо явствует из всего вышеизложенного, но, во избежание недоразумений, надо этот пункт выделить все же особо.

Нам могут указать, что возможно соблюдать все приведенные правила при наличности двух жен или мужей. «Идейная близость, редкие половые акты и прочие директивы совместимы ведь и при двумужестве, двуженстве». — «Ну, представьте, что одна жена (муж) мне восполняет в идейном и половом отношении то, чего не хватает в другой (другом); нельзя же в одном человеке найти полное воплощение любовного идеала». — Подобные соображения слишком прозрачная натяжка. Любовная жизнь двуженца (двумужни) чрезвычайно осложняется, захватывает слишком много областей, энергии, времени, специального интереса, — требует слишком большого количества специальных приспособлений, — вне сомнения, увеличивает количество половых актов, — в такой же мере теряет в соответствующей области и классовая творческая деятельность, так как сумма сил, отвлеченных в сторону непомерно усложнившейся половой жизни, даже в самом блестящем состоянии последней, — никогда не окупится творческим эффектом. Творчество в таких условиях всегда проигрывает, а не выигрывает — притом проигрывает не только количественно, но и в грубом искажении своего качества, так как будет непрерывно отягощено избыточным и специальным половым, «любовным» интересом.

VIII. При всяком половом акте всегда надо помнить о возможности зарождения ребенка — и вообще помнить о потомстве.

Ни одно предупредительное средство, кроме грубо-вредных, не гарантирует полностью от возможной беременности, — аборт же чрезвычайно вреден для женщин, — и потому половой акт должен заставить обоих супругов в состоянии полного биологического и морального благополучия, так как недомогание одного из родителей в момент зарождения тяжело отражается на организме ребенка. Это же соображение, конечно, раз навсегда исключает пользование проституцией, так как возможность заражения венерической болезнью является самой страшной угрозой, как для биологической наследственности потомства, так и для здоровья матери.

IX. Половой подбор должен строиться по линии классово-революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально полового завоевания.

Половая жизнь рассматривается классом — как социальная, а не как — узко-личная функция, и поэтому привлекать, побеждать в любовной жизни должны социальные, классовые достоинства, а не специфические физиологически-половые приманки, являющиеся в подавляющем своем большинстве либо пережитком нашего до-культурного состояния, либо развившиеся в результате гнилоносных воздействий эксплуататорских условий жизни. Половое влечение, само по себе, биологически достаточно сильно, чтобы не было нужды в возбуждении его еще и добавочными специальными приемами. Так как у революционного класса, спасающего от гибели все человечество, в половой жизни содержатся исключительно евгенические задачи, т. е. задачи революционно-коммунистического оздоровления человечества через потомство, очевидно, в качестве наиболее сильных половых возбудителей должны выявлять себя не те черты классово-бесплодной «красоты», «женственности», — грубо «мускулистой» и «усатой» мужественности, которым мало места и от которых мало толку

в условиях индустриализованного, интеллектуализированного, социализирующегося человечества.

Современный человек — борец должен отличаться тонким и точным интеллектуальным аппаратом, большой социальной гибкостью и чуткостью, классовой смелостью и твердостью — безразлично — мужчиной это, или женщиной. Бессильная же хрупкая «женственность», являющаяся порождением тысячелетнего рабского положения женщины и в то же время представляющая собою единственного поставщика материала для кокетства и флирта, — точно так же, как и «усатая», «мускулисто-кулачная» мужественность, больше нужная профессиональному грузчику или рыцарю доружейного периода, чем изворотливому и технически-образованному современному революционеру, — все эти черты, конечно, в минимальной степени соответствуют надобностям революции и революционного полового подбора. Понятие о красоте, о здоровье теперь радикально пересматривается классом-борцом в плане классовой целесообразности, и классово-бесплодные так называемая «красота», так называемая «сила» эксплуататорского периода истории человечества неминуемо будут стерты в порошок телесными комбинациями наилучшего революционного приспособления, наименее продуктивной революционной целесообразности.

Недаром идеалы красоты и силы в различных социальных слоях глубоко отличаются, и эстетика буржуазии, эстетика буржуазной интеллигенции далеко не импонирует пролетариату. Но у пролетариата нет еще своей эстетики, она создается в процессе его победоносной классовой борьбы, и поэтому чудовищной ошибкой было бы, по пути формирования им методов нового классового полового подбора, пользоваться старыми, отгнившими, в смысле их классовой годности, приемами полового завлечения. Каково в классовом отношении будет потомство, созданное родителями, главными достоинствами которых, явившимися основными половыми возбудителями, были: бессильная и кокетливо-лживая женственность матери и «широкоплечая мускулистость» отца? Революция, конечно, не против широких плеч, но не ими, в конечном счете, она побеждает, и не на них должен строиться, в основе, революционный половой подбор. Бессильная же хрупкость женщины ему вообще ни к чему: экономически и политически, т. е. и физиологически, женщина современного пролетариата должна приближаться и все больше приближаться к мужчине. Надо добиться такой гармонической комбинации физического здоровья и классовых творческих ценностей, которые являются наиболее целесообразными с точки зрения интересов революционной борьбы пролетариата. Олиetterное этой комбинации и будет идеалом пролетарского полового подбора.

Основной половой приманкой должны быть основные классовые достоинства, и только на них будет в дальнейшем создаваться половой союз. Они же определяют собою и классовое понимание красоты, здоровья: недаром не только понятие красоты, но и понятие физиологической нормы, подвергаются сейчас такой страстной научной дискуссии.

X. Не должно быть ревности. Половая любовная жизнь, построенная на взаимном уважении, на равенстве, на глубокой идейной близости, на взаимном доверии, не допускает лжи, подозрения, ревности.

Ревность имеет в себе несколько гнилых черт. Ревность, с одной стороны, результат недоверия к любимому человеку, — боязнь, что тот скроет правду, — с другой стороны, ревность есть порождение недоверия к самому себе (состояние самоунижения): «Я плох настолько, что не нужен ей (ему), и он (она) может мне легко изменить». Далее, в ревности имеется элемент собственной лжи ревнующего: обычно не доверяют в вопросах любви те, кто сам не достоин доверия; на опыте собственной лжи, они предполагают, что и партнер также склонен к лжи. Хуже же всего то, что в ревности основным ее содержанием является элемент грубого собственничества: «Никому не хочу ее (его) уступить», что уже совершенно недопустимо с пролетарски-классовой точки зрения. Если любовная жизнь, как и вся моя жизнь, есть классовое достояние, если все мое половое поведение должно исходить из соображений классовой целесообразности, — очевидно, и выбор полового объекта мною, как и выбор другим меня в качестве полового объек-

та, должен на первом плане считаться с классовой полезностью этого выбора. Если уход от меня моего полового партнера связан с усилением его классовой мощи, если он (она) заменил(а) меня другим объектом, в классовом смысле более ценным, каким же антиклассовым, позорным становится в таких условиях мой ревнивый протест. Вопрос иной: трудно мне самому судить, кто лучше: я или заменивший(ая) меня. Но апеллируй тогда к товарищескому, классовому мнению, и стойко примиришься, если оценка произошла не в твою пользу. Если же тебя заменили худшим(ей), у тебя остается право бороться за отвоение, за возвращение ушедшего(ей) — или, в случае неудачи, презирать его (ее), как человека, невыдержанного с классовой точки зрения. Но это ведь не ревность. В ревности боязнь чужой, т. е. и своей лжи, чувство собственного ничтожества и бессилия, животнo-собственнический подход, т. е. как раз то, чего у революционно-пролетарского борца не должно быть ни в каком случае.

XI. Не должно быть половых извращений. Не больше 1—2% современных половых извращений — действительно внутри-биологического происхождения, врождены, конституциональны, — остальные же представляют собою благоприятные условные рефлексы, порожденные скверной комбинацией внешних условий, и требуют самой настойчивой с ними борьбы со стороны класса. Всякое половое извращение, ослабляя центральное половое содержание, отражается вместе с тем и на качестве потомства и на всем развитии половых отношений между партнерами. Половые извращения всегда указывают на грубый перегиб половой жизни в сторону голы чувственности, на резкий недостаток социально-любвных стимулов в половом влечении. Половая жизнь извращенного лишена тех творчески-регулирующих элементов, которые характеризуют собою нормальные половые отношения: требования все нового и нового разнообразия, зависимость от случайных раздражений и случайных настроений становятся у извращенного действительно огромными; трудность найти партнера, всецело удовлетворяющего потребностям извращенного, боязнь потерять уже найденного партнера, сложность задачи извращенного приспособления его к себе (т. е. фактически уродование партнера во имя своего удовольствия), — частая ревность, приобретающая у извращенного необычайно глубокий и сложный характер, — все это накладывает печать особо глубокой пьловой озабоченности на творческий мир извращенного, постоянно уродуя его прочие душевные устремления.

Всеми силами класс должен стараться вправить извращенного в русло нормальных половых переживаний.

XII. Класс, в интересах революционной целесообразности, имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая.

Слишком велик хаос современной половой жизни, слишком много нелепых условных рефлексов в области половой жизни, созданных эксплуататорской социальностью, чтобы революционный класс — организатор принял без борьбы это буржуазное наследство. 90% современного полового содержания потеряло свою биологическую стихийность и подвергается растлевающему влиянию самых разнообразных факторов, из-под власти которых необходимо сексуальность освободить, дав ей иное, здоровое направление, создав для нее целесообразные классовые регуляторы. Половая жизнь перестает быть «частным делом отдельного человека» (как говорил когда-то Бебель, — но он ведь жил не в боевую эпоху пролетарской революции, не в стране победившего пролетариата) и превращается в одну из областей социальной, классовой организации. Конечно, далеко еще сейчас до действительно исчерпывающей классовой нормализации половой жизни в среде пролетариата, так как недостаточно ясно еще изучены социальные экономические предпосылки этой нормализации, — много фетишизма имеется еще и в биологическом толковании полового вопроса. Попытки жесткой половой нормализации сейчас, конечно, привели бы к трагическому абсурду, к сложнейшим недоразумениям и конфликтам, но все же общие вводные вехи для классового выправления полового вопроса, для создания основного полового направления имеются.

Чутким товарищеским советом организуя классовое мнение в соответствующую сторону, давая в искусстве ценные художественные образы определенного типа, в случаях слишком грубых вмешиваясь даже и профсудом, нарсудом, и т. д., и т. п., класс может сейчас дать основные толчки по линии полового подбора, по линии экономии половой энергии, по линии социализации сексуальности, облагораживания, енгенирования ее.

Чем дальше, тем яснее делается путь в этом вопросе, тем тверже и отчетливее, детальнее сделаются требования класса в отношении к половому поведению своих сочленов. Но он будет не только предъявлять требования, он будет строить и обстановку, содействующую выполнению этих требований. Мера его требований будет соответствовать возможностям новой обстановки новой среды, степени ее зрелости и силы. Бытие определяет сознание. Половое должно всецело подчиниться регулирующему влиянию класса. Соответствующая этому обстановка уже формируется.

Конечно, нашими «12 заповедями» совершенно не исчерпываются все нормы поведения революционного пролетариата. Автор лишь ставит вопрос в первоначальном его виде, пытается фиксировать первые вехи. Он старался при этом последовательно держаться указанных выше трех критериев для классово-целесообразного полового поведения пролетариата: 1) вопрос о потомстве; 2) вопрос о классовой энергии; 3) вопрос о взаимоотношениях внутри класса. — Одной из предпосылок ему служило, между прочим, и то соображение, что в переходный период революции семья еще не погибла.

Здоровое революционное потомство, при максимально продуктивном использовании своей энергии и при наилучших взаимоотношениях с другими товарищами по классу осуществит лишь тот трудящийся, кто поздно начнет свою половую жизнь, кто до брака останется девственником, кто половую связь создаст с лицом, ему классово-любовно близким, кто будет скупиться на половые акты, осуществляя их лишь как конечные разряды глубокого и всестороннего социально-любовного чувства и т. д. и т. п. Так мыслится автору «половая платформа» пролетариата.

Несколько слов об «ограбленных», о выхолощенных мими нормами человеческих радостях. Всякая радость, в классовом ее использовании, должна иметь какую-нибудь ценную производительную цель. Чем крупнее эта радость, тем полнее должна быть ее производственная ценность. Какова же производственная ценность всей огромной суммы современных «половых радостей» человека?

Эта ценность на добрых $\frac{3}{4}$ чисто паразитическая. Органы чувств, не получая должных впечатлений в гнилой современной среде, — движения, не получающие должного простора, — социальные инстинкты, любознательские стремления, сдвинутые, сплюснутые в хаос нашей эксплуататорской и после-эксплуататорской современности, — отдают всю остающуюся неиспользованную свою энергию, весь свой свободный двигательный фонд, свою излишнюю активность единственному резервному фактору — половому, который и делается героем дня, пауком поневоле. Отсюда раннее пробуждение сексуальности, отсюда ранний разгул ее по всем отраслям человеческого существования, отсюда наглое ее пропитывание всех пор человеческого бытия, даже науки. Культивировать это паучье бытие нашей сексуальности — неужели такой уж большой будет толк от этого для революционной, предкоммунистической культуры? Не лучше ли вернуть ограбленным обратно их добро, не лучше ли, «ускромнив», «усерив», «повыхолостив» разбухшую сексуальность соответствующими твердыми воздействиями (классовой противоположной насос, революционная сублимация) — выжать, отсосать из него обратную ценность, похищенные им у организма, у класса? Советские условия этому как раз максимально содействуют.

Сколько нового, — непосредственного, не увлажненного половым вождением, — яркого, героического, коллективистического, боевого классового устремления получит тогда заново человек! Сколько острой научной исследовательской, материалистической любознательности, не прикованной больше к одним лишь половым органам, получит тогда человек! Неужели эти радости менее радостны, чем

половая радость? Неужели производственная ценность их меньше, чем ценность тщательно оберегающегося от беременности полового акта или половой грезы? Тем более, что по праву это богатство, и социально и биологически, принадлежит не половому, — оно лишь было последним украдено в обстановке нелепой эксплуататорской энергетической суматохи.

Советская общественность как нельзя более благоприятствует нашей радикальной реформе полового поведения — из нее мы и исходим при построении наших вех.

Если буржуазный строй создал у господствующих классов колоссальный биологический избыток, ухидивший в значительной своей части на половое возбуждение, а с другой стороны — сплюскавал трудовые массы, выдавливая крупную часть неиспользованной их творческой активности тоже в сторону полового, — советская общественность обладает как раз обратными чертами: она изгнала тунеядцев с биологическим избытком и развязала сдвинутые силы трудовых масс, тем высвободив их и из полового плена, дав им пути для сублимации. **Сублимационные возможности советской общественности, т. е. возможности перевода сексуализированных переживаний на творческие пути, чрезвычайно велики.** Надо лишь это хорошенько осознать и умеючи реорганизовать сексуальность, урегулировать ее, поставить ее на должное место. В основном, конечно, это зависит от скорости творческого углубления самой советской общественности, т. е. нашей социалистической экономики в первую голову. — Но и для специальной активности — широчайший простор.

В самом деле, какое огромное десексуализирующее значение (отрыв от полового) имеет полное политическое раскрепощение женщины, увеличение ее человеческой и классовой сознательности. Приниженность и некультурность женщины играет очень крупную роль в сгущении половых переживаний, так как для женщин в таких условиях половое оказывается чуть не единственной сферой духовных интересов. Для грубо чувственного же мужчины такая бесильная женщина особо лакомая добыча. Освобожденная, сознательная женщина изымает из этого слишком «богатого» полового фонда обоих полов крупную глыбу, тем освобождая большую долю творческих сил, связанных до того половой целью.

Огромное десексуализирующее же, сублимирующее значение имеет и общее творческое раскрепощение трудовых масс СССР, все сдвинутые силы которых, ухидившие и на излишнее питание полового, сейчас получают свободу для делового, производственного общественного выявления. Сюда же надо отнести и раскрепощение национальностей и прочие завоевания революции в деле освобождения масс от эксплуататорского ярма. Большое значение имеет и отрыв населения от религии. Религия, пытаясь примирить со скверной реальностью, уничтожала боевые порывы, принаждала, сдвигала ряд телесных и общественных стремлений, сплюсывая тем самым большую их часть в сторону полового содержания. Умиравшая религия масс ослабляет их половое прозябание; возрождает их боевые свойства (хотя религиозные проповедники и лгут об обратном: без религии-де появится половая разнузданность).

Много полового дурмана плодила и отвлеченщина нашей старой интеллигенции. Чем сильнее отрыв от боевой реальности, тем больше в ней внереальной фантастики, т. е. больше и половой фантастики. Прикрепленная сейчас к советской колеснице жестко-практического строительства, наиболее социально здоровая часть старой интеллигенции перевоспитывается, теряя кусок за куском и лишний половой свой груз, не говоря уже о том, что она постепенно все более настойчиво замещается вновь растущей, вполне материалистической, рабоче-крестьянской интеллигенцией.

Детское коммунистическое движение будет спасать от раннего полового дурмана детский возраст (а не оно ли продукт нашей Октябрьской революции) и т. д., и т. п.

Очевидно, для организованной перестройки половых норм сейчас самое время. Наша общественность **позволяет** начать эту перестройку, **требует** этой перестройки, жадно ждет тех творческих сил, которые освободятся от полового плена после этой перестройки. Имеет ли право истинный друг революции, истинный гражданин СССР возражать против оздоровления сексуальности?

Но как начать, как провести эту «половую реформу»?

Требуется почин, пример, показательность. Застрельщиком в половом оздоровлении трудящихся и всего человечества, как и во всем прочем, должна быть наша красная молодежь. Воспитанная в героической сублимирующей атмосфере нашей революции, начиненная яркими классовыми творческими радостями так, как никогда молодежь до нее не начиналась, она легче отделается от гнилой половой инерции эксплуататорского периода человеческой истории. Именно она обязана быть энергичным пионером в этой области, показывая путь младшему поколению — **своей смене.**

Среди пестрой и жаркой дискуссии, которая ведется сейчас нашей красной молодежью, среди самых разнообразных, отчасти нелепых половых идеалов — в стиле хотя бы коллонтаевской Жени или в аскетическом духе — по Толстому, — начинает все более отчетливо пробиваться струйка классового регулирования полового влечения, струйка научно организованного, революционно-целесообразного, делового подхода к половому вопросу. Нет никакого сомнения, что струйка эта будет неуклонно нарастать, впитывая в себя все наиболее здоровые революционно-идеологические искания молодежи в области пола.

Кое-где отдельные, смелые, крепкие группки пытаются уже связать себя определенными твердыми директивами в области половой жизни. Кое-где, показывая пример другим своим поведением, они пытаются обратить внимание и прочих товарищей на половые беспорядки, творящиеся вокруг. Иногда в контакте с бытовыми и НОТовскими местными ячейками — всегда в тесной связи с партячейкой, с ячейкой Комсомола, они пробуют нащупать и метод практического воздействия на слишком грубо нарушающих **классовую равнодействующую** в области пола. Напряжено ищет в этой области и наше революционное, пролетарское искусство.

То и дело профсуд, партколлегия, контрольная комиссия прорезают общественное внимание сообщением, что грань половой допустимости кончается там-то, и молодежь мотает это сведение себе на ус, используя его в случае стратегической необходимости — для пресечения слишком разнузданных порывов вокруг. Так — постепенно, снизу, энергичными исканиями накопляется опыт, формируется система деловых правил. Автор не сомневается, что система половых норм, создающаяся этой массовой практикой, нащупываемой снизу, в основном, целиком совпадает с данной им выше схемой. Возможны, конечно, изменения в деталях, добавления, варианты, но схема и не претендует на исчерпание всей проблемы, она лишь пытается **дать направление.**

Наши дети — пионеры — первыми сумеют довести дело полового оздоровления до действительно серьезных результатов. С них и надо начать.

Еще несколько слов об обязанностях красной молодежи в половой области. Ей многое дано, а потому с нее много и спросится. Октябрьская революция была выстрадана героически большевистским подпольным кадром, потянувшим за собою массы, — давшим колоссальное количество тяжелых жертв пролетарскому благу. Это — героически-революционный фонд, которым питается и еще долго будет питаться развертывающаяся, идущая вглубь пролетарская революция. Какой героический фонд в революцию внесла наша молодежь? Пока она, конечно, многое еще не могла успеть и по возрасту, но, во всяком случае, ближайшие возможности ее боевых героических накоплений не так велики, — революция, ведь, вступила на несколько лет в сравнительно мирную полосу. Поэтому не грех, если в состав героического, жертвенного революционного фонда среди других частей этого фонда молодежью будет также внесен и богатый вклад половой скромности, половой самоорганизации. Это оздоровит наши нравы, это поможет нам сформировать крепких, творчески насыщенных классовых борцов, это позволит нам родить здоровую, новую революционную смену, это сбережет уму драгоценнейшей классовой энергии, которой и без того непродуктивно утекает слишком много, по неумению нашему.

Для того, чтобы строить, нужно научиться организованно копить.

ОЛЕГ ЗОЛОТОВ

К ГОНДЕЛЬМАНУ

Радостно мне, Гондельман, что нас печатают редко, а Руднева — часто: Столько гадости всякой напишешь — не расхлебашь под старость. Легче нам будет смотреть нашим детям в глаза, чем ему.

Отчего, скажи, Гондельман, наша природа так несовершенна: Утром того-то пожелаешь, а к ночи — иного? .. Может, и у животных такое ж — и у собак, Гондельман, и у кошек?

Нет, Гондельман, не будет тебе счастья в Народном фронте, Услышишь однажды: «Спасибо за помощь, приезжайте еще...»

Веришь ли, Гондельман, страшно и мне бывает:

Ну, как проснешься утром — и ни райкома тебе, ни горкома?! Волосы дыбом становятся от подобных мыслей.

Что супруга твоя, Гондельман, так же на дух не выносит Машинок и прочих в редакции женщин?

Так же ревнует все и угрожает разводом?

Полно — скажи ей — уж больно они художочны.

Удивляюсь я, Гондельман, тяге твоей к наукам:

На один глаз ослеп ты уже, скоро на другой ослепнешь.

Помнишь ли, Гондельман, тех, в гостинице, женщин?

Ты читал им стихи, а я хватал их за ляжки.

Теперь мы оба женаты, и оба — удачно.

Можно часами сидеть у воды или в роще,

Без движения, Гондельман, и без мысли. . .

Так и жизнь пройдет, если ничего не случится —

Словно ночь, Гондельман, без свечи и известий.

Даже и нам, Гондельман, приходится лгать и лукавить,

Что ж говорить о тех, кто ни совести не имеет, ни чести!

Видишь, клубничник мой весь в белом каком-то налете?

Сам приходи, Гондельман, если хочешь, ягоды кушать,

Но не бери с собой ни Левушки, ни Марка.

Теперь-то я понял, Гондельман, как назвать мне то стихотворенье:

«Попытка асфальта» — и скромно, и вполне современно.

Нельзя, Гондельман, разминиваться на строчки в газетах,

Нужно высокое звание поэта нести достойно.

И не зависть во мне говорит, и не ревность вовсе.

На молодежь нашу, Гондельман, я взираю с печалью.

Ну что с того, Гондельман, что я помочился на кладбище? Надобность эту в кустах, далеко от надгробий я справил, Ни капли на могилы не попало.

А все, Гондельман, твое заундство!

Спрашиваешь, Гондельман, сколько я получаю в месяц?

Еле концы с концами свожу на сто двадцать.

Ты посмотри только, Гондельман, на этих акселераторк!

С такою и лечь-то страшно — еще прослывешь неумехой.

Вот здесь я оставил место для георгин и левкоев,

Здесь будет черемуха, а там вот — мирты,

А здесь придется посадить картошку:

Жизнь, Гондельман, кошмарно дорожает.

В сущности, Гондельман, все на одно лицо эти бабы.

Что я скажу тебе, Гондельман, если вдруг спросишь о моей печали? Я и сам не пойму, отчего тоскую.

Только и радости мне, Гондельман, что в твоём патефоне!

Музыка — что? Притворство одно да кокетство,

Разве Баха еще, Гондельман, можно слушать.

Понял я, наконец, Гондельман, в чем дело:

Надо мне, чтоб меня любили:

Хотя бы несколько минут в день, несколько дней в неделю.

Наверное, того ж, Гондельман, и тебе надо.

Однако и мне, Гондельман, пора о душе подумать:

Знаешь ведь, некому обо мне помолиться.

Не буду спорить, тяжело, если некуда уйти из дома,

От жены, от вечных придилок ее и скандалов.

Ну а мне зато какво, Гондельман, подумай,

Чуть не каждую ночь плестись с чемоданом через кладбище, к матушке?

Если писать, Гондельман, о белой сирени,

Можно так: «сахарные головки»,

Даже так: «сахарные головки сирени»..

Что, Гондельман, жена твоя опять собрала чемоданы?

А ведь я говорил тебе, помнишь, перед свадьбой:

«И на старуху, Гондельман, бывает проруха!»

Что уж теперь, задним умом все мы крепки.

Вот и ты, Гондельман, говоришь, что душа бессмертна,

А сам печалишься и тщишься, я вижу, о брэнной жизни.



ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ЭДУАРДС ВЕЙДЕНБАУМС

* * *

Есть множество честных людей, терпеливо
Сносящих удел свой — мучительный труд,
Водку не пьют, не варят пиво,
Работают, копят, пока не помрут.

А есть ловкачи, развелось их немало,
Такие все важные, все господа,
Владыки земные и их подпевалы,
Живущие жатвой чужого труда.

Но больше тех, кто к небу взывают,
Надуют их — стерпят и не укорят,
И лижут руки, что их избивают,
И бога за все это благодарят.

И есть безумцы, душа их прямая
(Как жаль, что их мало!) не терпит оков.
Они, эту драму всерьез принимая,
К свободе и к свету зовут дураков.

Перевод ЛЕОНИДА ЧЕРЕВИЧНИКА

В школе учительница рассказывала, что Вейденбаумс — человек противоречивый, и весьма трудно бывает разобрать, когда он говорит на полном серьезе и когда — учительница, наверное, говорила «иронизирует», но я восприняла проще — насмехается, и мне показалось, что это не совсем честная игра. (Трудно изучать Вейденбаума в младших классах . . .) Потом я заметила, что насмехаются не только поэты и что главные противоречия находятся не в сфере поэзии. И поняла, что Вейденбаумс играет честно.

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ГАТИСА ГУДЕТСА

РОМАН С КОКАИНОМ

8.

По очень широкой, полукругом поднимавшейся лестнице, белой и светлой, над которой вместо крыши было оранжевое стекло, и по которой мы поднимались с совестлившей меня молчаливой деловитостью, — Яг, через гулкую залу, где кресла, рояль и люстра были в белых чехлах, провел нас в свою комнату. На дворе еще было светло, но в Ягиной комнате, расположенной боком к заходящему солнцу, уже сумеречничало и в раскрытую балконную дверь видны были пузатые столбики балконной ограды, очерченные абрикосовыми отсветами.

— Нет, — сказала Соня, когда Яг, забежав за кресло из малинового, чернотертого на сгибах бархата, с такой решительностью схватился за спинку, словно готовился изо всей силы вкатить его под Соню; — нет, — сказала Соня, — давайте там, там чудесно. И она кивнула в сторону балкона. — Ведь можно, да — спросила она, когда Яг, тут же подняв круглый столик, под кружевной скатертью с печеньями, с зеленым в хрустальном графинчике ликером и с красными, похожими на опрокинутые турецкие фрески, стаканчиками, — уже тащил его к балкону. — Помилуйте, Софья Петровна, — поворотился к ней вместе со столиком Яг и даже поставил его, чтобы развести руками.

На балконе от заходящего, выпуклого как желток сырого яйца, солнца, хоть и зацепившего за крышу, однако, видимого целиком, словно оно прожигало эту крышу насквозь, — лица стали махрово красными.

— Разрешите вам нацедить, Софья Петровна, ликерчик на ять-с, — говорил Яг, усадив меня и Соню, наполняя красные стаканчики, поддерживая себя другой рукой под локоть и здорово громыхая выпуклой жестью, которой был крыт балконный пол. — Я ведь, можно сказать, и не знал, что вы с Вадимом встречаетесь и видно даже друзья. Прошу покорно откушать. — И получив в ответ Сонин благодарный кивок, он сел на кончик стула, поставив графин себе на колено и держа его за горлышко — совсем как отдыхающий скрипач.

Соня с красным стаканчиком у красного лица — опущенными глазами улыбалась так, словно подбадривала: — ну-ка, ну-ка, еще скажи что-нибудь.

— Ведь вы, Софья Петровна, — глядя на ее улыбку, продолжал Яг, — нас в ту ночь, деликатно-то выражаясь, в три шеи выставили, да к стати сказать поделом. Но... я бы и кланяться-то вам не посмел бы. А тут вдруг такое дело.

— Какое дело, — спросила Соня и улыбнулась в стаканчик.

— Ну, это самое, — и Яг сделал рукой такое движение, словно что-то подбрасывал на ладони и пытался определить вес. — Словом, не знаю как Вадим это сладил. Протелефонил ли вам, письмо ли написал, но я бы после этой ночи не решился.

Соня со стаканчиком у губ, еще глотая, сделала протестующее ммм, словно поперхнувшись, взмахнула рукой и, не отрываясь от стаканчика, наклонилась вместе с ним к столу, чтобы, не капнув, отставить.

— Но ничего похожего, — сказала она еще с мокрыми губами и смеясь. — С чего вы это взяли? Просто я сама на следующее же утро послала ему записку и цветы. Вот и все.

— Цветы? — спросил Яг.

— Ага, — кивнула Соня.

— Ему-с? — спросил Яг, выпростав из кулака большой палец и туго выгибая его в мою сторону.

— Ему-с? — передразнила Соня и уже смотрела мимо Яга и прямо мне в глаза. Ее пронзительный взгляд на улыбающемся лице (так смотрят, когда в шутку пугают детей), будто говорил мне: — это любовь заставила меня тогда сделать то, о чем я теперь рассказала; это любовь заставляет меня теперь рассказывать о том, что я тогда сделала.

Некоторое время Яг молчал, попеременно взглядывая то на меня (я отвечал ему счастливой и глупой улыбкой), то на Соню. Но постепенно водянистые глаза его — сперва расширенные от Сониного признания, затем отсутствующие от внутренней работы, стали хитренькими.

— Позвольте, однако, Софья Петровна, — сказал он и, взяв стаканчик и глотнув ликеру, сделал челюстями полоскательное движение, словно это зубной эликсир, который он вот-вот выплюнет. — Позвольте. Вы изволили сказать, цветы там, записку, ну и прочее. Ну, а адресок-то, а адресок-то как же. Или, может, он вам и раньше был известен. Нет? — переспросил он, с вопрошающей неуверенностью переводя на слова Сонину улыбку. — Но в таком случае как же, как же?

— Но очень же просто, — сказала Соня, — вот слушайте. Я не знала ни о вас, ни о Вадиме решительно ничего, ну ни полсловечка. И вот как я все это выведала. На следующее утро, раненько, я вызвала к себе Нелли и сделала ей выговор с предупреждением, что если подобное безобразия еще раз, еще только единственный раз повторится, то я их тут же выгоню. Как же это можно, ну как это мыслимо, приводить с собой — и когда — ночью, и куда — в мою квартиру, и кого — чужих мужчин. А? Как вам это нравится? Нет, вы скажите, — как вам это нравится? А кто мне поручится, что это не грабители. Да что я такое говорю; даже наверно это были грабители. Но почему вы так думаете? Разве вы их знаете? И что же вы о них такое знаете?

— Однако, позвольте, Софья Петровна, — перебил Яг, — ведь эта самая Настюх... э Нелли... не знала ни фамилий, ни адресов.

— Правда, — подтвердила Соня, — этого она не знала. Но зато она знала, что одного из вас, того, который был в студенческом кителе, зовут Вадимом, а того, который был в штатском, — Яг. Мало того, — прошлой зимой, когда она служила у Мюра, она частенько видела вас обоих, причем оба вы тогда ходили в какой-то, как она выразилась, странной форме: совсем похоже на студенческую, только пуговицы были не золотые, а серебряные и без орлов. Больше о вас Нелли не знала ничего, но для меня и этого было достаточно. Во-первых, я уже знала, что того, кто меня интересуется, — зовут Вадимом. Во-вторых, форма гимназии, столь похожая на студенческую с указанными отличиями пуговиц, — мне известна: в этой гимназии учится сынишка моей кузины. В-третьих, мне было ясно, что если прошлой зимой человек ходил

еще в гимназической форме, а теперь, летом носит студенческий китель, то очевидно, что этой весной он окончил гимназию. По телефонной книжке я разыскала адрес гимназии и поехала туда. Кроме швейцара, никого не было и он, после краткого выяснения наших с ним отношений, достал мне список учеников, окончивших гимназию этой весной. Мне повезло: среди окончивших восемнадцати человек был только один по имени Вадим. Так я узнала фамилию, а швейцар тут же раздобыл мне и адрес.

— Зздорово, — восхищенно воскликнул Яг и отчаянно закрутил головой. Но уже как бы освобождая его от необходимости каких бы то ни было похвал, Соня, приложив кисти руки к уху, послушала и потом взглянула на свои браслетные часики. И воспользовавшись тем, что она была отвлечена, Яг тревожно просигнализировал мне глазами: — сейчас, мол, ухожу.

Уже совсем свечерело и стало ветрено, когда ушел Яг. Из-за угла дугой взвилась пыль и когда, налетев коротким ураганчиком, завернула скатерть, гримасой сомкнула глаза и прошла мимо и сгнула, то на зубах хрустело как сахар, и сверху, будто с крыши, порхая бабочкой бананового цвета, — осенний лист в затихшем воздухе, все падал, падал и под конец, уже над самым столом, медленно кувиркаясь, залетел в красный стаканчик, изобразив гусиное перо в песочнице. И мне вдруг стало жаль, что ушел Яг, будто отсюда, с балкона, вынесли столь приятное мне чужое удивление моему счастью, словно счастье мое — это новый костюм, который теряет часть своих радостей, когда его нельзя носить на людях. Соня поднялась, прошла на балкон и села рядом. — У-у, какой бука, — сказала она и сделала мордочку шаловливо-нахмуренной: нахмуренность изображала меня, а шаловливость — ее отношение к моей нахмуренности. И боязливо, совсем как ребенок дразнит собаку, она, напряженно вытянув указательный пальчик, начала сверху вниз бороздить по моим губам, которые стали издавать такие звонкие веселые щелчки, что тотчас я и расхохотался. — Вот по этому самому, — сказала Соня, — по тому, рассмеешься ли ты, или озлобленно оттолкнешь мою руку, я в будущем всегда узнаю твои чувства. — Впрочем, — добавила она, помолчав, — ты видишь, какие мы женщины глупые: тот эффект, который мы производим, высказав вслух нашу наблюдательность, дорожке нам той пользы, которую мы могли бы из этой наблюдательности извлечь, если бы о ней умолчали.

Между тем быстро темнело и от крепчавшего ветра становилось беспокойно. Только еще там, над черной крышей дома, куда упало солнце, виднелась узкая мандариновая полоса. Но уже чуть выше было мрачно, — точно вливаемые в воду струи чернил, катились облака ветрено и так быстро, что, когда я задираю голову вверх — балкон вместе с домом начинали бесшумно ехать вперед, грозя передавить весь город. За углом листья деревьев шумели морем, потом в высшем напряжении этого мокрого шума что-то, видимо в сучьях, остро надломило, и тут же, где-то совсем рядом, с ломким стуком захлопнуло окно, а в возникшей на мгновение падающей тишине — выброшенное оконное стекло со звоном разорвало о мостовую.

— Фу, — сказала Соня, — здесь гадко. Пойдем.

После балкона в Ягиной комнате было тихо и душно, будто натоплено. Сквозь закрытые двери балкона из темноты — белая скатерть металась, как на вокзале прощальный платок. Держа Соню под руку и производя сухой свистящий шорох, я начал было обглаживать ладонью обои, чтобы разыскать штепсель, — но Сонины рука мягко сдержала меня. Тогда, обхватив Соню, прижимая ее к себе и подвигаясь в направлении слабо белевшей в темноте, словно расплущенной, колонны, за которой, мне помнилось, стояла кушетка, — я, неуклюже наступая на кончики Сониных туфель, медленно повел ее спиной вперед.

Но продвигаясь в темноте и прижимая к себе Соню, я, как ни старался возбудиться мужским и животным ожес-

тчением, столь необходимым мне вот сейчас, вот сию минуту, — уже в отчаянии и с ужасающей ясностью предчувствовал свой позор, потому что даже теперь, здесь, в Ягиной комнате, в эти решительные минуты, Сонины поцелуи и Сонины близость делали меня слишком растроганным, слишком чувствительным, чтобы стать чувственным. Что же делать, что же мне делать, что же мне делать, — в отчаянии думал я, — сознавая, что Соня это женщина, которую надо брать стихийно и сразу, и что делать это нужно именно так не потому что Соня окажет сопротивление, — потому что осмелюсь я возбуждать мою одряхлевшую в эти минуты чувственность при помощи длительного процесса грязных прикосновений — я тем самым, спасая самолюбие моей мужественности, — уже навсегда и непоправимо разрушу красоту наших отношений. Между тем мы уже были у самой колонны. Так что же делать, что же мне делать, — повторял я, в отчаянии думая о том, что сейчас будет такой срам, после которого нельзя уже жить, — в отчаянии еще сознавая, что именно это-то предчувствие срама — лишает меня уже последней возможности возбудить в себе то звериное, которое смогло бы этот срам предотвратить. И только в последнюю секунду, когда как в черную пропасть, мы рухнули на вульгарно грохнувшую всеми пружинами кушетку, — мне придумался выход, и я, как это видел в театре, вдруг отчетливо захрипел и, стараясь разорвать на себе тугой и суконный воротник, простонал. — Соня. Мне худо. Воды.

9.

Москва, 1916 года, сентября.

Мой милый и дорогой мой Вадим!

Мне тяжело, мне горько подумать, и все же я знаю, что это мое последнее письмо к тебе. Ты ведь знаешь, что с того самого вечера (ты знаешь, какой я думаю) между нами установились очень тяжелые отношения. Такие отношения, раз начавшись, уже никогда не могут вернуться к старым, и даже больше того: чем дольше длиться такие отношения, чем настойчивее и та и другая сторона пытаются ложью изображать прежнюю близость, тем сильнее чувствуется та ужасная враждебность, которая никогда не случается между чужими, а возникает только между очень близкими друг другу людьми. При таких отношениях достаточно, чтобы один сказал бы другому правду, всю правду, понимаешь ли полную правду, — и сейчас же эта правда обращается в обвинение.

Сказать такую правду, высказать с совершенной искренностью все свое обращение к этой любовной лжи, — не значит ли это заставить того, кому сказана эта правда, — то ли эту правду молчаливо признать, и тогда всему конец, — то ли, из-за боязни перед этим концом, лгать вдвойне, и за себя и за того, кто сказал эту правду. И вот я пишу тебе, чтобы сказать эту правду, и прошу умоляю тебя, мой дорогой, не лги, оставь это письмо без ответа, будь правдив со мною хотя бы твоим молчанием.

Прежде всего о твоём, так называемом, обмороке, который ты тогда разыграл у Язы. (Тут мне приходится в голову, что обморок имеет что-то общее с обморочить). Ведь с этого, собственно, началось, или, если хочешь еще точнее, — началось с того, что я в этот обморок не поверила. С первой же минуты я поняла, что обморок этот только выход из положения, неблагоприятного для твоего самолюбия и оскорбительного для моей любви. Мимходом замечу, что в такое определение вполне вмещается мое первое подозрение о том, что может быть ты болен, — предположение, которое я тут же, как совершенно негодное (не возможное, а неправильное) отбросила.

Ты знаешь, — я ухаживала за тобою в тот вечер, как умела, я приносила тебе то воду, то мокрое полотенце, я была нежна с тобою, но все это была уже ложь. Я уже думала о тебе в третьем лице, в моих мыслях ты стал

для меня «он», думая о тебе, я уже не обращалась к тебе непосредственно, а будто говорила о тебе с кем-то другим, с кем-то, который стал мне ближе, чем ты, и этот «кто-то» — был мой разум. Так я стала тебе чужой. Но тогда, ночью, я лгала, я не сказала, не могла сказать тебе правды, которую пишу теперь: я была оскорблена. Когда один человек оскорбляет другого, то оскорбление всегда бывает двух родов: умышленное или невольное. Первое не страшно: на него отвечают ссорой, ругательством, ударом, выстрелом, и, как бы это ни было грубо, это всегда помогает, и умышленно нанесенное тебе оскорбление смывается легко, словно грязь в бане. Но зато ужасно оскорбление, которое тебе нанесли не намеренно, а невольно, совсем не желая этого: ужасно именно потому, что, отвечая на него ругательством, ссорой, или даже просто выказывая его внешней обиженностью, ты не только не ослабляешь, а напротив уже сама себя оскорбляешь до невыносимости. Невольно нанесенное оскорбление тем-то особенно и отличается, что не только нельзя на него отвечать, а как раз напротив, нужно изо всех сил показывать (а это ох как тяжело), будто ничего не замечаешь. И вот поэтому-то я тебе в этот вечер ничего не сказала и лгала.

Тысячи раз я себя спрашивала и не могла, нет, не хотела найти ответа. Тысячи раз я задавала себе вопрос — что же произошло, — и тысячи раз получала один и тот же ответ: — он не захотел тебя. И я склонялась перед правдивостью этого ответа, перед его единственностью, — и все же не понимала. Хорошо, — говорила я себе, — он не захотел меня, — но в таком случае зачем же он все это делал. Зачем он устроил нашу встречу у Яга, почему он и поступал и вел себя так, что и поведением и поступками уже обязывал взять меня и все же не сделал этого. Почему. Ответ был один: очевидно, потому, что сознательная его воля желала меня, между тем, как его тело противно и наперекор воле, брезгливо от меня отвернулось. Думая об этом испытывала то самое, что должен испытывать прокаженный, которого христианский брат целует в уста, и который видит, как христианского брата после этого поцелуя тут же вытошнило. В твоих поступках, Вадим, я чувствовала совершенно то же: с одной стороны, было стремление твоей сознательной воли, которое тебя вполне оправдывало, — с другой — брезгливое непослушание твоего тела, которое меня особенно оскорбляло. Не осуждай меня, Вадим, и пойми, что всякие рассудочные соображения, которые побуждают телесно овладеть женщиной, глубоко оскорбительны для нее, независимо от того, диктуются ли они христиански жалостливыми, и значит высоко душевными, или же грязно денежными соображениями. Да. Безрассудство, совершаемое рассудочно, — это низость.

Ты знаешь, что на следующий день должен был приехать мой муж. Ты знаешь также, ведь я говорила тебе об этом, что какие бы ужасы меня ни ожидали, но честно и по хорошему я расскажу ему обо всем, что за это время произошло. Но я не сделала этого. После той ночи я не считала себя вправе это сделать, даже больше того: я почувствовала к приехавшему мужу какую-то новую, сближавшую меня с ним, благодарную нежность. Да, Вадим, это так, и ты это должен и можешь понять. Ибо сердцу прокаженной женщины милее чувственный поцелуй негра, чем христианский поцелуй миссионера, преодолевающего отвращение.

Ты знаешь, что было дальше. Ты пришел к нам, как гость, как чужой. Конечно, я понимала, что на самом деле ты себя чужим вовсе не чувствуешь, а только чужим притворяешься, и что ты уверен, что мне-то ты не только не чужой, а самый что ни на есть близкий. Я знала, что ты так думаешь, я знала так же, как ты глубоко ошибаешься, — и знаешь, Вадимушка, так мне вдруг стало жаль тебя, так жаль мне стало тебя за эту твою уверенность, и так больно мне за тебя было.

Мой муж, которого я познакомил с тобой, и которому ты, это было заметно, понравился, с присущей ему

бестактностью, взяв меня под руку, повел тебя показывать нашу квартиру.

Ты должен знать, что мой муж не ревнив. Это отсутствие в нем чувства ревности объясняется избытком самоуверенности и недостатком воображения. Однако, эти самые чувства, которые воздерживают его от ревности, побудили бы его к чрезвычайной жестокости, узнай он о моей измене. Мой муж несколько не сомневается в том, что он и только он представляет собою ту точку, вокруг которой происходит вращение всех других людей. Он несколько не способен почувствовать, что точно так же думает решительно всякое живое существо, и что с точки зрения этого всякого — он, мой муж, перестав быть точкой, вокруг которой происходит вращение, в свою очередь начинает вращаться. Мой муж никак не может понять, что в мире таких центральных точек, вокруг которых вращается воспринимаемый и вмещаемый этими точками мир, имеется ровно столько, сколько живых существ населяет мир. Мой муж признает и понимает человеческое я как центр, как пупок мира, но возможность присутствия такого я он полагает только в самом себе. Все остальные для него это «ты» — «он» — вообще «они». Таким образом, называя это свое я высоко человеческим, муж мой несколько не понимает, что на самом деле это я его чисто звериное, что такое я допустимо разве что у удава, пожирающего кролика, или у кролика, пожираемого удавом. Мой муж и не понимает, что разница между звериным и человеческим я заключается в том, что для зверя признать чужое я это значит признать свое поражение, как результат слабости своего тела и значит ничтожество, — для человека же признать чужое я это значит праздновать победу, как следствия силы своего духа и значит величия. Таков мой муж, и право же жаль, что так повернулось, что я остаюсь у него. Этот удар по его тупости, который нанесло бы ему известие о моей измене, о предпочтении ему кого-то другого — пошел бы ему на пользу.

Ты помнишь, конечно, этот момент, когда, показывая тебе квартиру, мы подошли, наконец, к дверям нашей спальни. Ты помнишь так же, как я противилась и ни за что не хотела открыть дверь, и как муж, рассерженный и непонимающий, все-таки открыл дверь, втолкнул меня и, пропуская тебя вперед, сказал: — входите, входите, это наша спальня; — вы видите, здесь все из красного дерева. Ты взглянул, ты посмотрел на неприбранную, на эту страшно разбросанную теперь в девять часов вечера постель, и ты понял. Я знаю: в эти минуты, стоя в нашей спальне, ты испытывал и ревность, и боль, и горечь оскорбленной, поруганной любви. Я и тогда уже знала, что ты испытываешь все эти чувства. И только потом я узнала, что это оскорбление твоей любви — было часом рождения твоей чувственности. Как жаль, что я поняла это слишком поздно.

Ты знаешь, что было дальше. Я продолжала встречаться с тобой тайком от мужа, но эти наши новые встречи были уже не те, что раньше. Каждый раз ты приводил меня в какую-то трущобу, срывал с меня и с себя платье и брал меня с каждым разом грубее, безжалостнее, циничней. Не упрекай меня за то, что я позволила это делать. Не говори, что это доставляло мне хоть минуту радости. Я переносила этот разврат, как больной переносит лекарство: он думает этим спасти свою жизнь, — я думала спасти свою любовь. В первые дни, хотя я и заметила, хотя и поняла, что твоя чувственность разогревается в соответствии с остыванием твоей любви, — я еще на что-то надеялась, я еще чего-то ждала. Но вчера, — вчера я почувствовала, я поняла, что даже и чувственности нет в тебе больше, что ты сыт, что я лишняя, что так продолжаться не должно. Ты помнишь, как ты даже не поцеловал меня, не обнял, не сказал даже слова приветия, и молча, со спокойствием чиновника, пришедшего на службу, начал раздеваться. Я смотрела на тебя, на то, как ты, стоя передо мною в нижнем и, прости, не очень свежем белье, за-

ботливо складывая брюки, как потом подошел к умывальнику, снял полотенце, предусмотрительно положил его под подушку, и как потом, — потом, после всего, ты, не стесняясь, даже не отворачиваясь от меня, вытерся, и предложил мне сделать то же — повернулся спиной и закурил папиросу. — Что же, — спрашивала я себя, — это и есть та самая любовь, ради которой я готова бросить все, сломать и исковеркать жизнь. Нет, Вадим, нет милый, это не любовь, а это грязь, мутная, мерзкая. Такая грязь имеется в моем доме в таком достатке, что я не вижу нужды переносить ее из моей супружеской спальни, где «все из красного дерева», в затхлый номер притона. И пусть это тебе покажется жестоким, но я еще хочу сказать, что в выборе между тобой и мужем, — я теперь отдаю предпочтение не только обстановкам, но и лицам. Да, Вадим, в выборе между тобой и мужем, я, помимо всяких обстановок, предпочту моего мужа. Пойми. Эротика моего мужа — это результат его духовного нищенства: оно у него профессионально и потому не оскорбительно. Твое же отношение ко мне — это какое-то непрерывное падение, какое-то стремительное обнищание чувств, которое, как всякое обнищание, унижает меня тем больше, чем большему богатству в прошлом оно идет на смену.

Прощай, Вадим. Прощай, милый, дорогой мой мальчик. Прощай, моя мечта, моя сказка, мой сон. Верь мне: ты молод, вся жизнь твоя впереди, и ты-то еще будешь счастлив. Прощай же.

Соня.

КОКАИН

1

Уже нельзя было лечь на подоконник, темно-серый и каменный, с фальшивыми нитями мраморных жил, и с обструганным, обнажавшим белый камень краем, о который точились перочинные ножи. Уже нельзя было, легши на этот подоконник и вытянув голову, увидеть длинный и узкий, с асфальтированной дорожкой, двор, — с деревянными, всегда запертыми воротами, с боку которых, точно утомленно отяжелев, отвисала на ржавой петле калитка, где об нижнюю перекладину всегда спотыкались жильцы, а споткнувшись, непременно на нее ругающими глазами оглядывались. Была зима, окна были законопачены вкусно-сливочного цвета замазкой, меж рамами стекла округло лежала вата, в вате были вставлены два узких и высоких стаканчика с желтой жидкостью, — и подходя еще по летней привычке к окну, где из-под подоконника дышало сухим жаром, по особенному чувствовалась та отрезанность улицы, которая (в зависимости от настроения) возбуждала чувство уюта или тоски. Теперь из окна моей комнатенки видна была только соседняя стена с застывшими на кирпичах серыми потоками известки, — да еще внизу, то самое отгороженное частокольчиком место, которое швейцар наш Матвей внушительно называл садом для господ, причем достаточно было взглянуть на этот сад или на этих господ, чтобы понять, что та особенная почитательность Матвея, с которой он отзывался о своих господах, была не более, как расчетливое взвинчивание своего собственного достоинства, за счет возвеличения людей, которым он был подчинен.

За последние месяцы особенно часто случалась тоска. Тогда, подолгу простаивая у окна, держа в рогатке пальцев папиросу, из которой со стороны мандаринового ее огонька шел синий-синий, а со стороны мундштука грязно-серый дымок, я пытался счесть на соседней стене кирпичи, или вечером, потушив лампу и вместе с ней черное двоение комнатны в сразу светлевшем стекле, подходил к окну, и, задрвав голову, так долго смотрел на густо падающий снег, пока не начинал лифтом ехать

вверх, навстречу неподвижным канатам снега. Иногда, еще бесцельно побродив по коридору, я открывал дверь, выходил на холодную лестницу, и, думая, кому бы мне позвонить, хотя и знал хорошо, что звонить решительно некому, спускался вниз к телефону. Там, у так называемой парадной двери, в суконной синей и назади гармонью стяннутой поддевке, в фуражке с золотым околышем, поставив сапоги на перекладину табурета, — сидел рыжий Матвей. Поглаживая ручищами колени, словно он их жестоко зашиб, он время от времени запрокидывал голову, страшно раскрывал рот, обнажая приподнявшийся и трепетавший там язык, и так зевая, испускал тоскующий рык, сперва тонально навстречу а-о-и, — и потом обратно и-о-а. А зевнув, сейчас же, еще с глазами, полными сонных слез, укоризненно самому себе качал головой, и потом умывающимися движениями так крепко тер ладонями лицо, словно помышлял сорванной кожей придать себе бодрости.

Вероятно, этой-то зевотной склонности Матвея должно было приписать то обстоятельство, что жильцы дома, где только и как только возможно, избегали и даже как бы пренебрегали его услугами, и вот уже много лет в доме были приспособлены звонки, шедшие из телефонной будки решительно во все квартиры, чтобы в случае телефонного вызова, Матвею было достаточно только надавить соответствующую кнопку.

Моим условным вызовом вниз к телефону — был длинный, тревожный звонок, который, в особенности теперь, за последние месяцы, приобрел для меня характер радостной, волнующей значимости. Однако звонки такие случались все реже. Яг был влюблен. Он сошелся с молодой уже женщиной испанского типа, которая, почему-то, возненавидела меня с первой же встречи, и мы виделись редко. Несколько раз я пробовал встречаться с Буркевицем, но потом решительно бросил, никак не находя с ним общего тона. С ним, с Буркевицем, который теперь стал революционером, нужно было говорить или гражданственно возмущаясь чужими, или исповедуясь в собственных грехах против народного благосостояния. И то и другое было мне, привыкшему свои чувства закрывать цинизмом, или уж если выражать их, то в виде юмора, — до стыдности противно. Буркевиц же как раз принадлежал к числу людей, которые, в силу возвышенности исповедуемых ими идеалов, осуждают и юмор и цинизм: — юмор, потому что они видят в нем присутствие цинизма, — цинизм, потому что они находят в нем отсутствие юмора. Оставался только Штейн, и изредка он звонил мне, звал к себе посидеть, и я всегда следовал этим приглашениям.

Штейн жил в роскошном доме, с мраморными лестницами, с малиновыми дорожками, изысканно внимательным швейцаром и лифтом, купе которого, пахнущее духами, взлетало вверх с тем, неожиданным и всегда неприятным толчком остановки, когда сердце еще миг продолжало лететь вверх и потом падало обратно. Лишь только горничная открывала мне громадную, белую и лаковую дверь, лишь только охватывали меня тишина и запахи этой очень большой и очень дорогой квартиры, — как навстречу мне уже выбежал, словно в ужасно деловой торопливости, Штейн и, взяв меня за руку, быстро вел к себе, в шкапу шарил в карманах костюмов, и нередко даже выбежал в переднюю, видимо, и там роясь по карманам в своих шубах и пальто. Когда все было перерыто, Штейн, успокоенный, что ничего не потеряно, клал предметы своих поисков передо мной на стол. Все это были старые уже использованные билеты, пригласительные карточки, афишки спектаклей, концертов и балов, — словом, вещественные доказательства того, где он бывал, в каком театре, на какой премьере, в каком ряду сидел, и, главное, сколько им было за это заплачено. Разложил все это в таком порядке, чтобы сила производимого на меня впечатления равномерно возрастала, и руководствуясь при этой сортировке лишь величиной цены, которая была

за этот билет заплачена, Штейн, утомленно шурясь, как бы преодолевая усталость, дабы честно выполнить чрезвычайно скучную обязанность, начинал свое повествование.

Никогда ни одним словом не упоминая о том, хорошо или плохо играли актеры, хороша ли или дурна была пьеса, хорош ли был оркестр или концертант и вообще какое впечатление, какие чувства вынесены им из всего виденного и слышанного со сцены, — Штейн лишь рассказывал (и это с мельчайшими подробностями) о том, какова была публика, кого из знакомых он повидал, в каком ряду они сидели, с кем была в ложе содержанка биржевика А., или где и с кем сидел банкир Б., каким людям он, Штейн, был в этот вечер представлен, сколько эти его новые знакомые в год (Штейн никогда не говорил зарабатывают) наживают, и было очевидно, что совершенно так же, как и наш швейцар Матвей, он с совершенной искренностью верит в то, что чрезвычайно возвеличивается в моих глазах, за счет доходов и высокого положения своих знакомых. С ленивой гордостью протарабанив все это и упомянув еще о том, как трудно было получить билет и сколько было при этом переплачено бырашнику, Штейн, наконец, склонялся надо мной и подтачивал холеным ногтем своего большого, белого и шибко расплющенного пальца высокую кассовую стоимость билета. Тут он замолкал и, привлекиши этим молчанием мой взгляд с билета на себя — разводил руками, клал голову на плечо и улыбался мне той плачущей улыбкой, которая обозначала, что это безмерно высокая стоимость билета его, — Штейна, настолько забавляет, что он уже не в силах возмущаться.

Иногда, когда я приходил к Штейну, он на своих длинных ножищах находился в лихорадочной спешке. Страшно торопясь, он брился, поминутно бегал в ванную и прибегал обратно, собираясь куда-то — то ли на бал, на вечер, в гости или на концерт, и было странно, зачем понадобился ему я, которого он вызвал только что по телефону. Разбрасывая вещи, нужные и ненужные ему для этого вечера, он в торопливости мне их показывал, — тут были помочи, носки, платки, духи, галстуки, — мимоходом называя цены и место покупки.

Когда же, уже совсем готовый, в шелковистого сукна шубе, в остроконечной бобровой шапке, рыже морщась от закуренной сигареты, которая ела ему глаз, задрав перед зеркалом голову и шаря рукой по бритому напудренному горлу (смотрясь в зеркало, Штейн всегда по рыбы опускал углы губ) — он вдруг отрывисто говорил — ну, едем, — то, с явным трудом отводя глаза от зеркала, быстро шел к двери и так поспешно сбегал по тихо звякающим дорожкам лестницы, что я еле его догонял. Не знаю почему, но в этом моем беге за ним по лестницам было что-то ужасно обидное, унизительное, стыдное. Внизу у подъезда, где Штейна ждал лихач, он уже без всякого интереса прощался со мной, подавал мне нежмущую руку и, тотчас отняв ее отвернувшись, садился и уезжал.

Помню, как-то я попросил у него займы денег, какую-то малость, несколько рублей. Ни слова не говоря, Штейн, округлым движением, и будто от дыма сморщив глаз (хоть он в этот момент и не курил), вытащил из бокового кармана шелковый с прожилками портфель, и вынул оттуда новенькую хрустящую сторублевку. — Неужели даст? — подумалось мне, — и странно, несмотря на то, что деньги были мне очень нужны, я почувствовал неприятнейшее разочарование. Будто в этот короткий момент я уверился в том, что доброта, оказанная подлецом, — разочаровывает совершенно так же, как и подлость, свершаемая человеком высокого идеала. Но Штейн не дал. — Это все, что у меня есть, — сказал он, кивая подбородком на сторублевку. — Будь эти сто рублей в мелких купюрах, я, конечно, дал бы тебе даже десять рублей. Но они у меня в одной бумажке, и потому менять ее я не согласен, даже если бы тебе нужны были всего десять копеек. При этом, не в мои глаза, а только в лицо, не увидали, видимо того, что собирались увидеть. — Разменная сторублевка это уже не сто рублей, — откровен-

но теряя терпение, пояснил он, зачем-то при этом показывая мне вывернутую ладонь. — Разменянные деньги — это уже затронутые и значит истраченные деньги. — Конечно, конечно, — говорил я и радостно кивал головой, и радостно ему улыбался, и изо всех сил стараясь скрыть свою обиду, чувствуя, что обнаружив ее (правду, правду писала Соня), я обижу себя еще больше. А Штейн с лицом, выражающим одновременно укоризну, потому что в нем усумнились, — и удовлетворение, потому что все же признали его правоту, — широко развел руками. — Господа, — с самодовольной укоризной говорил он, — пора. Пора стать, наконец, европейцами. Пора понимать такие вещи.

Несмотря на то, что я довольно часто бывал у Штейна, он не потрудился познакомить меня со своими родителями. Правда, бывай Штейн у меня, так и я не познакомил бы его со своей матерью. Однако эта одинаковость наших действий, имела совершенно разные причины: Штейн не знакомил меня со своими родными, ибо ему перед ними было совестно за меня, — я же не познакомил бы Штейна со своей матерью, ибо совестился бы перед Штейном за свою мать. И каждый раз, приходя от Штейна домой, я мучился горькой оскорбленностью бедняка, духовное превосходство которого слишком сильно, чтобы допустить его до откровенной зависти, и слишком слабо, чтобы оставить его равнодушным.

Есть много странности в том, что противнейшие явления имеют почти непреодолимую власть притягательности. Вот сидит человек и обедает и вдруг, где-то, за его спиной, вытошило собаку. Человек может дальше есть и не смотреть на эту гадость. Человек, наконец, может перестать есть и выйти и не смотреть. Он может. Но какая-то нудная тяга, словно соблазн (а уж какой же тут, помилуйте, соблазн) тащить и тащить его голову и обернуться и взглянуть, взглянуть на то, что подернет его дрожью отворачивания, и на что он смотреть решительно не желает.

Вот такую-то тягу я чувствовал в отношении к Штейну. Каждый раз, возвращаясь от Штейна, я уверял себя, что больше ноги моей там не будет. Но через несколько дней звонил Штейн, и снова я шел к нему, шел как бы за тем, чтобы сладостно беречь свое отвращение. Часто, лежа у себя в комнате при погашенной лампе я воображал, что вот занимаюсь какой-то торговлей, дела идут замечательно, и вот, я уже открываю собственный банк, между тем как Штейн совершенно оборванный, обнищавший, бегаёт за мной, добивается моей дружбы, завидует мне. Такие мечты, такие видения были мне чрезвычайно приятны, при чем (хоть это и может показаться весьма странным и противоречивым), но именно это-то чувство приятности, возбуждаемое во мне подобными картинками, было мне до крайности неприятно. Во всяком случае, как бы там ни было, я в этот вечер радостно вскочил с дивана, когда раздался этот бешеный, долгий звонок, звывший меня к телефону. В этот памятный, в этот ужасный для меня вечер, я снова, как и раньше, готов был идти к зовущему меня Штейну. Но это был не Штейн. И когда сбегав по холодной лестнице и забежав в телефонную, пропахшую пудрой и потом, будку, я поднял висевшую на зеленом скрюченном шнуре у самого пола трубку, то шопот, который захаркал оттуда, принадлежал не Штейну, а Зандеру, — студенту, с которым я весьма недавно познакомился в канцелярии университета. И этот Зандер хрипло лял мне в ухо, что он с приятелем нынче ночью решили устроить понюхон (я не понял, переспросил и он пояснил, что это значит нюхать кокаин), что у них мало денег, что было бы хорошо, если бы я смог их выручить, и что они меня ждут в кафе. О кокаине у меня было весьма смутное представление, мне почему-то казалось, что это что-то вроде алкоголя (по крайней мере по степени опасности воздействия на организм), и так как в этот вечер, как впрочем, и во все последние вечера, я совершенно не знал, что мне с собою делать и куда бы пойти, и так как у меня имелось пятнадцать рублей, то я с радостью принял приглашение.

Стоял сухой и шибкий мороз, которым все, точно до треска, было сжато. Когда сани подползли к пассажиру, то со всех сторон падал металлический визг шагов, и отовсюду с крыш шел дым такими белыми столбами вверх, словно город гигантской лампадой свисал с неба. В пассажике было тоже очень холодно и гулко, зеркала были заснежены, — но только я отворил дверь в кафе, как оттуда вырвалось прачешное облако тепла, запахов и звуков.

Маленькая раздевальня, только перегородкой отделенная от зала, была так тесно набита висевшими одна на другой шубами, что швейцар пыхтел и подпрыгивал, словно лез на гору, когда, держа снятую с меня шинель за талию, слепо водил ее падавшими вниз и никак не цеплявшимися крючками шиворотом. На полке и на зеркале фуражки и шапки тесно стояли колонками одна на другой, внизу калоши и ботинки, вставленные друг в друга, были на подошвах испачканы мелом с обозначением номеров.

Как раз, когда я протиснулся в зал, скрипач, уже со скрипкой, вставленной под подбородок, торжественно поднял смычок и, привстав на цыпочках и подняв плечи, — вдруг опустился, и (движением этим рванув за собой пианино и виолончель) заиграл.

Стоя рядом с музыкантами и глядя в переполненный зал, который, как только заиграли, сразу нагнал шумом голосов, я пытался выловить Зандера. Рядом пианист здорово работал локтями, лопатками и всей спиной, гнул стул с подложенной под ним драной книгой нот и гулял отлипающей спиной, — виолончелист, поднятыми бровями разжалив лицо, припадал ухом к шатающемуся на струне пальцу, — а скрипач, крепко расставив ноги, в нетерпеливой страстности вилял торсом, и ужасно совестно становилось за его похотливо радующееся собственным звукам лицо, которое с такой веселой настойчивостью приглашало на себя посмотреть, и на которое решительно никто не смотрел.

Приподнимаясь на носках, втягивая живот и боком пролезая меж тесно поставленными столиками, — я невольно (по какой-то, часто случавшейся за последние месяцы, необходимости обнажать перед собою умышленное свое ничтожество), — искал и, конечно, не находил точного определения — что такое музыка. Здесь, на другой стороне зала, было чуть просторнее, звуки, как ветер переменяв направление, временами уходили от музыкантов, и тогда смычки их ходили беззвучно. А у огромного окна, возвышаясь над головами, уже стоял Зандер и, привлекая мое внимание, махал платком.

«Ну, наконец-то, вот, — ну, наконец-то, вот и ты, говорил он, продираясь мне навстречу и схватывая мою руку двумя руками. — Ну, как живем, — (он задрожал головой), — ну, как живем, Вадя. У него была болезнь дрожь головой, после чего все сказанные уже слова будто забывались им, вытряхивались из него, и с назойливым упорством он повторял их сначала. Его колючие глазки и хищный нос радостно морщились. Не выпуская моей руки и пятясь по тесному проходу, он проволочил меня к столику, за которым сидело еще двое. По тому, как они выжидательно смотрели мне в глаза, было очевидно, что они в компании с Зандером, и что он сейчас нас будет знакомить. Одного из поднявшихся нам навстречу Зандер назвал Хирге, другого Миком, при этом три раза дрожал головой и три раза начинал о том, что этот Мик — карикатурист и танцор. Про другого, про Хирге, Зандер не сказал ничего, но Хирге этого легко было определить (по крайней мере внешне) двумя словами: ленивое отвращение. Когда мы подошли к столику, Хирге с ленивым отвращением поднялся, с ленивым отвращением подал мне руку, и, снова усевшись, с ленивым отвращением начал смотреть поверх голов. Второй, Мик, был явно очень нервен. Не вынимая изо рта папиросы (она качалась, когда он говорил), он, не глядя на меня, обратился к Зандеру. — Ну, ты не засиживайся и выясняй, выясняй положение. И, услышав от Зандера, что положение выяснено, что имеется

пятнадцать рублей, он сделал кислое лицо Зандеру, потом улыбку, потом все снял и громко застучал кольцом о стекло стола. Хирге с ленивым отвращением смотрел в сторону. Кельнерша, с ужасом истощенным лицом, которое мне сразу показалось знакомым, круто повернула на стук, и, крепко налегая крахмальным фартучком на острый угол стола, воткнув его в живот, стала собирать пустые стаканы. Только когда, собирая окурки (они лежали не в пепельнице, а были разбросаны прямо на столе), она, брезгливо опустив губы, так покачала головой, будто ничего, кроме подобного свинства от вас и не ожидала, — я признал в ней Нелли. Не взглянув на меня, хоть я и поздоровался с нею и спросил ее, как она поживает, она продолжала поспешно вытирать стекло стола тряпочкой, тихо сказала — ничего, мерси, — покраснела кирпичными, большими пятнами, а когда собрала все со стола, то пугливо оглянулась в сторону буфета, и вдруг, наклонившись к Хирге, быстро сказала, что она сейчас сменится и что будет ждать внизу. На что Хирге (он как раз опирался руками о стол и от усилия подняться так перекошил лицо, словно смертельно ранен в спину) с ленивым отвращением мотнул головой.

Не прошло и четверти часа, как все мы, Нелли, Зандер, Мик и я, расположились в ожидании на минуту отлучившегося за кокаином Хирге (мне по дороге сообщили, что Хирге не нюхает, а только торгует кокаином), в хорошо натопленной комнате, заставленной чрезвычайно старой мебелью. Сейчас же за дверью, так что последнюю можно было открыть только наполовину, стояло старенькое пианино; его клавиши были цвета нечищенных зубов, а во ввинченных в пианинную грудь и отвисавших вниз подсвечниках, торчали, склоняясь в разные стороны (отверстия подсвечников были слишком велики), витые красные свечи, испещренные какими-то золотыми точечками и сверху торчали белые хвостики фитилей. Дальше по стене шел выступ камина, на белой и мраморной доске которого, под стеклянным колпаком, два бронзовых французских джентльмена, в камзолах, чулках и ботиночках с пряжками, склонив головки и сделав ножками менуэтное па, собирались элегантно подбросить часы, с белым без стекла циферблатом, с черной дыркой для завода, и с одной только стрелкой, да и то изогнутой. В середине комнаты стояли низкие кресла, бархат которых, когда его гладили по ворсу, давал желтый, а против ворса черный оттенок с такой отчетливостью, что по нем можно было писать. А посреди кресел стоял черный, овальной формы, лакированный стол, и под ним его замысловато изогнутые ножки соединялись на изгиб пластинкой, на которой лежал фамильный альбом, в чем я тотчас и убедился, лишь только его вытащили. Альбом этот запылился пружкой с шишечкой, нажав на которую он, скакнув, раскрылся. Переплет альбома был из лилового бархата (в нижнем переплете по углам имелись медные, выпуклые головки гвоздей, немного сточенные, — альбом на них покоился, как на колесиках), между тем как на верхнем переплете изображена была потрескавшимися красками лихо несущаяся тройка с замахнувшимся кнутом ямщиком и с облаками под полозьями. Я раскрыл было и только начал листать внутренние страницы, которые были позолочены на ободках и из такого массивного картона, что при переворачивании щелкали друг о друга, словно деревянные, — как в это время Мик оживленно позвал меня в другой конец комнаты. — Вот, полюбуйте-ка, — сказал он, не оглядываясь на меня и подзывая ближе вытанутую назад рукой. — Вы только посмотрите на этого байстрюка, вы поглядите только на этот ужас. И он указал мне на бронзового и голого младенца, пухленькой ручкой державшего на весу громаднейший канделябр. — Ведь страшно поду-

мать, вскричал Мик, прижимая кулак ко лбу, — в какой идиотической теме пребывали люди, которые это работали, и еще те, которые такую штуку покупали. Нет, милый, вы посмотрите (он схватил меня за плечи), вы посмотрите только на его физию. Подумайте, (он прижал кулак ко лбу), ведь этот младенец поднимает вытянутой рукой такую тяжесть, которая превышает в пять раз его собственный вес, ведь это чудовищно, ведь это как для нас с вами двадцать пудов. Ну? А между тем что выражает его личико. Видите-ли вы в нем хотя бы малейший отголосок борьбы, усталости или напряжения? Да отпилите вы от его ручки этот канделябр, и, уверяю вас, что даже самая чувствительная кормилица, глядя на его мордашку, не сумеет угадать, хочет-ли этот младенец спать, или он будет сейчас . . . Ужас, ужас.

— Ну, какого тебе рожна опять надо, — весело закричал Зандер с другого конца комнаты и пошел было, обходя кресла, в нашу сторону, но в этот момент в комнату вошел Хирге. Он был в халате, прижимая руки к груди что-то с осторожностью нес, и как только он вошел, нет, как только он отворил коленкою дверь, все — Мик, Зандер и Нелли, пошли ему навстречу и так как он не остановился, то опять обратно за ним к лакированному столику, где под висящей лампой было светлее. Подошел и я.

На столике уже стояла небольшая жестяная коробочка, похожая на те, в которых у Абрикосова продавали солонку, только меньше и короче. На ее блестящей, словно нечищенной жести, кое-где виднелись приклеившиеся лохматки сорванной бумаги. Рядом лежало еще что-то вроде циркуля с ниточкой, и еще тут же деревянная коробочка. — Ну, валяй, валяй, ждать-то нечего, — сказал Мик, — посмотри-ка на нашу красавицу, ей уже совсем невтерпех. И он кивнул на Нелли, которая, с лицом внезапно заболевшего человека, в нетерпении то отускалась локтями на стол, то снова выпрямлялась, при этом не спуская глаз с Хирге, словно прицеливалась, откуда лучше откусить: сверху или снизу. Хирге устало потер лоб и, с отвращением ворочая языком и губами, сказал: — сегодня грамм стоит семь пятьдесят, вам значит сколько. Последние слова относились ко мне и, видя, как Зандер возмущенно моргал мне глазами, будто еще раньше разучил со мною роль, которую теперь, когда нужно ее произнести, я запомнил, — я сказал, что у меня имеется без какой-то малости пятнадцать рублей. — А мне один грамм, — вдруг и совсем неожиданно сказала Нелли, и прикусила нижнюю губу до белого пятнышка. Хирге, прикрыв глаза, в виде согласия дал чуть-чуть упасть голове, положил на борт стола зажженную папиросу и, нисколько не обращая внимания на Мика, который, с шумным нетерпением выпыхнув воздух, зашагал по комнате, неся (как кувшин) запрокинутыми руками свою голову, — раскрыл жестяную коробку. — Вам, значит, два грамма, — сказал мне Хирге, пытаясь осторожно вытащить то синее, что лежало в жестянке. — Нет, как же, — вмешался Зандер, останавливая его, — это ведь надо разделить. И подождав головой еще раз: — это ведь надо разделить. Но к столу уже подбежал Мик и, поднимая указательный палец (будто ему пришла замечательная мысль), радостным голосом предложил разделить все три грамма поровну на четыре части, чтобы на каждого пришлось бы по три четверти. Со зло опущенными глазами Нелли сказала: — нет, уж мне целый грамм; целый день за эти деньги работаешь, работаешь. Она опять прикусила губу, а глаза не поднимала. — Хорошо, хорошо, — примирительно и злобно махнул на нее Мик, — тогда сделаем иначе. И он предложил разделить мои два грамма, дав ему и Зандеру по три четверти, мне же, как начинающему, половину. — Ведь можно, да, — спросил он, ласково глядя мне в глаза. И только Зандер еще вмешался, высказав сомнения, составляют-ли две три четверти и одна половина — два целых.

Видя, что общее согласие наконец достигнуто, Хирге, стоявший до того с опущенной головой и руками, принял от меня и от Нелли деньги, пересчитал их, положил в кар-

ман, и еще раз отодвинув папиросу, чтобы она не сожгла стола, взялся за жестяную коробочку, в которой виднелось что-то синее. Только теперь, когда Хирге вытащил это синее из коробки, я понял, что это кулек из синей бумаги, и что рядом с пустой теперь жестяной лежат аптекарские весы, принятые ранее за циркуль. Из жилетного кармана Хирге вытащил костяную лопатку и несколько бумажек, сложенный как в аптеке для порошков. Развернул одну из них, — она была пуста, — Хирге вложил ее в чашечку весов, и бросив на другую крошечный металлический обрезок, взятый из ящичка (в нем лежали гири), — приподнял коромысло весов настолько, чтобы ниточки натянулись, чашечки-же весов оставались-бы в соприкосновении со столом. Продолжая так одной рукой держать весы, Хирге другой рукой, в которой была костяная лопатка, раскрыл отверстие пакета и опустил в него лопатку. Бумага застрекотала и я заметил, что в синем кулке находится вдетый в него вплотную еще другой кулек, из белой (она-то и застрекотала) словно-бы вошеной бумаги. На осторожно вытащенной затем костяной лопатке горбиком лежал белый порошок. Он был очень бел и сверкал кристаллически, напоминая нафталин. Хирге с очень большой осторожностью сбросил в пакетик на весах и другой рукой приподнял выше коромысло. Чашечка с гиришкой оказалась тяжелее. Тогда, не опуская приподнятых над столом весов, Хирге снова воткнул костяную лопатку в синий пакет, но видимо это было очень неудобно и тяжело руке. — Подержи-ка пакет, — сказал он Мику, стоявшему к нему ближе других, — и только теперь, когда он сказал эти слова, я понял, какая ужасная тишина была в комнате. — Э, да тут почти ничего нет, — сказал Мик, в то время Хирге, не отвечая и достав лопаточкой еще кокаина, сбрасывал его с лопатки на весы тем движением ударяющего пальца, которым сбрасывают пепел с папиросы. Когда коромысло весов выровнялось, Хирге, осторожным и точным движением сбросив обратно в пакет остаток с лопатки, опустил весы, снял порошок и, закрыв его и примяв кокаин, который тотчас приобрел уплотненно сверкающую гладкость, протянул порошок Нелли.

Пока Хирге взвешивал и готовил следующий порошок, (обычно он продавал готовые порошки, но Мик еще по дороге, боясь, как я потом узнал, что Хирге подмешает хинину, поставил непременно условием свое присутствие при развесе), итак, пока готовился следующий порошок, я смотрел на Нелли. Она тут-же на столе раскрыла свой порошок, достала из сумочки коротенькую и узенькую стеклянную трубочку и концом ее отделила крошечную кучку сразу разрыхлившегося кокаина. Затем приставила к этой кучке кокаина конец трубочки, склонила голову, вставила верхний конец трубочки в ноздрю и потянула в себя. Отделенная ею кучка кокаина, несмотря на то, что стекло не соприкасалось с кокаином, а было только надставлено над ним, — исчезла. Проделав то-же с другой ноздрей, она сложила порошок, вложила в сумочку, отошла вглубь комнаты и расселась в кресле.

Между тем Хирге успел уже свешать следующий порошок, к которому теперь тянулся Зандер. — Ах, не закрывай ты его пожалуйста, — говорил он в то время как Хирге, склоняя голову на бок, словно любуясь своей работой, заканчивал порошок, — ах, да не придавливай, не дави ты его, не надо. И трясущейся рукой приняв из спокойной руки Хирге раскрытый порошок, Зандер высыпал на тыловую сторону ладони горку кокаина, однако-же много большую, чем это делала Нелли. Затем, вытягивая свою волосатую шею так, чтобы оставаться над столом, Зандер приблизил к горке кокаина нос и не соприкасаясь им с порошком, перекосив рот, чтобы замкнуть другую ноздрю, шумно потянул воздух. Горка с руки исчезла. То-же самое он проделал и с другой ноздрей, с той однако разницей, что порция кокаина, предназначавшаяся для нее, была так ничтожно мала, что была еле заметна. — Только в левую ноздрю могу нюхать, — пояснил он мне с лицом человека, который, рассказывая об исключитель-

ности своей натуры, смягчает хвастовство — видом недоумения. При этом с отвращением морщась он, шибко высунув язык, несколько раз облизал то место руки, на которое сыпал кокаин, и, наконец, заметив, что из носа выпала на стол пушинка, он склонился и лизнул стол, оставив на лакированной поверхности мокрое, быстро сбегающее, матовое пятно.

Теперь и мой порошок был уже взвешен и лежал аккуратно передо мною, между тем как Мик, затворив за вышедшим Хирге дверь, с большой осторожностью высыпал свой порошок в вынутый из кармана крошечный стеклянный пузырек. Понюхав кокаина, (Мик тоже нюхал как-то по своему, на иной лад, чем другие, — опускал в пузырек, в котором кокаин игольчато облепил стенки, тупую сторону зубочистки и, вытащив на ее выгнутом кончике пирамидку порошка, подносил к ноздре, ничего не просыпая), понюхав он увидел мой еще нетронутый паке-тик. — А вы то что же не нюхаете, — спросил он меня тоном укора и недоумения, будто я читал газету в фойе театра, в то время как спектакль уже начался. Я объяснил, что собственно не знаю как, да и у меня и нечем. — Пойдемте, я вам все сделаю, — сказал он совершенно так, словно у меня не было билета, и он выражал готовность мне его дать. — Господа, — крикнул он Зандеру и Нелли, которые в углу раскрывали ломберный столик и уже достали мелки и карты, — вы что же там, идите же смотреть, тут ведь человека ноздревой невинности лишают. Мик раскрыл мой порошок, (кокаин был в нем приплюснут, в середине лежал более толстым слоем, по краям кончался волнистой линией, и раскрытый Миком дал в толще трещину и будто весь подпрыгнул), концом зубочистки набрал в ее выемку немного порошка и, обняв меня за плечи, слегка притянул к себе. Близко перед собой я видел теперь его лицо. Глаза его были горячи, влажны и блестящи, губы не раскрываясь безостановочно ходили, будто он сосал леденец. — Я поднесу эту понюшку к вашей ноздре и вы дернете носом, это все, — сказал Мик, осторожно приподнимая зубочистку. И только я, почувствовав приближившуюся зубочистку, хотел потянуть в себя воздух, как Мик, сказав — эх, черт, — опустил ее. Она была пуста.

— Что же ты сделал, — разволновался Зандер, (он с Нелли уже стояли у стола), — ты же сдул. Мне и на самом деле было страшно, что мое дыхание, которое я даже сдерживал, могло снести этот белый порошок, и заметив, что тужурка моя под подбородком обсыпана, невольно, как это делал с пудрой, начал счищать рукавом. — Да что же ты делаешь, сволочь, — закричал Зандер и, вскинувшись и глухо грохнув коленями о пол, вытащил там свой порошок и стал в него собирать пушинки. Чувствуя, что я сделал какую-то ужасную неловкость, и просительно посмотрел на Нелли. — Нет, нет, вы не умеете, — тотчас успокоительно ответила она, переняла через стол от Мика зубочистку, (обходя ползавшего по полу Зандера, шепнула совсем по бабьему, всасывая в себя воздух — господи) — и подошла ко мне. — Видите ли, миленький мой, понимаете ли меня, — махая зубочисткой, заговорила она немного невнятно, словно ей что сжимало зубы, — кокаин, или как мы его называем, кокш, понимаете, просто кокш, ну, так вот значит кокш . . . — Или, как мы его называем кокаин, — вставил Мик, но Нелли махнула на него зубочисткой. — Ну, так вот кокш, — продолжала она, — он необычайно, он до волшебства, легкий. Понимаете. Малейшего дуновения достаточно, чтобы его распылить. Поэтому, чтобы его не сдуло, вы не должны от себя дышать, или — должны заранее выпустить воздух. — Из легких, разумеется, — мрачно заметил Мик. — Из легких, — ворковала Нелли, и сразу на Мика, — ах, да уберите вы, мешаете только, — и снова ко мне, — ну, так понимаете, как только я поднесу понюшечку, так вы от себя не должны дышать, а сразу в себя тянуть. Теперь поняли, да, — сказала она, набирая на зубочистку кокаин.

Послушно, так, как она приказала, я не дышал и потом в себя, как только почувствовал щекотание зубочистки у

ноздри. — прекрасно, — сказала Нелли, — теперь еще раз, — и ковырнула снова зубочисткой в порошок. От первой понюшки я не почувствовал в носу ничего, разве только, да и то лишь в мгновение, когда потянул носом, своеобразный, но не неприятный запах аптеки, тотчас-же улетучившийся, лишь только я вдохнул его в себя. Снова почувствовал зубочистку у другой ноздри, я опять потянул в себя носом, на этот раз осмелев, много сильнее. Однако, видимо, перестарался, почувствовал как втянутый порошок щекоцуще достиг носооглотки и, невольно глотнув, я тут же почувствовал, как от гортани отвратительная и острая горечь разливается слюной у меня во рту.

Видя на себе испытующий Неллин взгляд, я старался не поморщиться. Ее обычно грязно голубые глаза были теперь совсем черны, и только узенькая голубая полоска огибала этот черный, страшно расширенный и огневой зрачок. Губы же, как и у Мика, ходили в непрерывном, облизывающемся движении, и я хотел было уже спросить, что же они такое сосут, но как раз в этот момент Нелли, отдав зубочистку Мик у и приведя уже в порядок мой порошок, быстро пошла к двери, обернувшись, сказала — я на минутку, сейчас вернусь — и вышла.

Горечь во рту у меня почти совсем прошла и осталась только та промерзлость гортани и десен, когда на морозе долго дышишь широко раскрытым ртом, и когда потом, закрыв его, он кажется еще холоднее от теплой слюны. Зубы же были заморожены совершенно, так что надавливая на один зуб, чувствовалось, как за ним безболезненно тянутся, словно друг с дружкой сцепленные, все остальные.

— Вы должны теперь дышать только через нос, — сказал мне Мик и действительно дышать стало так легко, будто отверстие носа расширилось до чрезвычайности, а воздух стал особенно пышен и свеж. — Э-те-те-те, — остановил меня Мик испуганным движением руки, завидя, что я достал платок. — Это вы бросьте, это нельзя, — строго сказал он. — Но если мне необходимо высморкаться, — упорствовал я. — Ну что вы такое говорите, — сказал он, выдвигая голову и прижимая ко лбу кулак. — Ну, какой же дурак сморкается после понюшки. Где же это слыхано. Глотайте. На то ведь это кокаин, а не средство против насморка.

Зандер, между тем, держа в руке свой порошок, сел на кончик стула, посидел так молча, подрождал головой, и словно что надумал, пошел к двери. — Послушай, Зандер, — остановил его Мик, — ты там постучи Нельке, скажи чтоб поскорее. Да и сам поторапливайся, я ведь тоже еще не умер.

Когда Зандер, с какими-то странными движениями пугливой предосторожности, притворил за собой дверь, я спросил Мика, в чем дело и куда это они все выходят. — Э, пустое, — ответил он (он говорил уже тоже как-то странно, сквозь зубы), — просто после первых понюшек портится желудок, но сейчас же проходит и уже больше до конца понюха не действует. У вас этого еще не может быть, — как бы успокаивая, добавил он, прислушиваясь у двери. — Я думаю, что кокаин-то на меня не подействует, — вдруг сказал я, совсем неожиданно для себя, и испытывая при этом от очищенного звука своего голоса такое удовольствие и такой подъем, будто сказал что-то ужасно умное. Мик нарочно перешел через всю комнату, чтобы снисходительно похлопать меня по плечу. — Это вы можете рассказать вашей бабушке, — сказал он. И улыбнувшись мне нехорошей улыбкой, снова пошел к двери, отворил и вышел.

Теперь в комнате никого нет, и я подхожу и сажусь у камина. Я сажусь у черной и решетчатой дыры камина и совершаю внутри себя работу, которую делал бы всякий на моем месте и в моем положении: я напрягаю свое сознание, заставляя его наблюдать за изменениями в моих ощущениях. Это самозащита: она необходима для вос-

становления плотины между внутренней ощущаемостью и ее наружным проявлением.

Мик, Нелли и Зандер возвращаются в комнату. Я развертываю на ручке кресла свой порошок, прошу у Мика зубочистку, вносиваю еще две понюшки. Делаю я это, конечно, не для себя, а для них. Бумажка хрустит, кокаин на каждом хрусте подпрыгивает, но я продельваю все и ничего не просыпаю. Легкий, радостный налет, который я при этом чувствую, я воспринимаю, как следствие моей ловкости.

Я разваливаюсь в кресле. Мне хорошо. Внутри меня наблюдающий луч внимательно светит в мои ощущения. Я жду в них взрыва, жду молний, как следствие принятого наркоза, но чем дальше, тем больше убеждаюсь, что никакого взрыва, никаких молний нет и не будет. Кокаин значит и вправду на меня не действует. И от сознания бессилия передо мною такого шибкого яда, радость моя, а вместе с ней сознание исключительности моей личности, все больше крепнет и растет.

В глубине комнаты Зандер и Нелли сидят за ломберным столом, бросают друг другу карты. Вот Мик хлопает по карманам, находит спички, зажигает в высоком подсвечнике свечу. Любовно я смотрю, с какой бережностью он закругленной ладонью закрывает свечу, несет ее пламя на своем лице.

А мне становится все лучше, все радостнее. Я уже чувствую, как радость моя своей нежной головкой вползает в мое горло, щекочет его. От радости (я слегка задыхаюсь) мне становится неважно, я уже должен отплеснуть от нее хоть немножко, и мне ужасно хочется что-нибудь порассказать этим маленьким бедным людишкам.

Это ничего, что все шикают, машут руками, требуют, чтобы я (как было еще раньше строжайше между всеми обусловлено) молчал. Это ничего, потому что я на них не в обиде. На миг, только на коротенький миг я испытываю как бы ожидание чувства обиды. Но и это ожидание обиды, как и удивление тому, что никакой обиды не чувствую, — все это уже не переживания, а как бы теоретические выводы о том, как мои чувства должны были бы на такие события отвечать. Радость во мне уже настолько сильна, что проходит неповрежденной сквозь всякое оскорбление: как облако, ее нельзя поцарапать даже самым острым ножом.

Мик берет аккорд. Я дергаюсь. Только теперь я ловлю себя на том, как напряжено мое тело. В кресле я сижу не откинувшись, и желудочные мускулы неприятно напряжены. Я опускаюсь на спинку кресла, но это не помогает. Мышцы распускаются. Помимо воли я сижу в этом удобном мягком кресле в такой натянутой напряженности, будто вот-вот оно должно подо мной подломиться и рухнуть.

На пианино свеча горит над Миком. Язык пламени колыхается, — и в обратном направлении у Мика под носом качается усатая тень. Мик еще раз берет аккорд, потом повторяет его совсем тихо: мне кажется, он уплывает вместе с комнатой.

А ну, теперь скажи, что такое музыка, — шепчут мои губы. Под горлом вся радость собирается в истерически прыгающий комок. — Музыка — это есть одновременное звуковое изображение чувства движения и движения чувства. — Мои губы бесчисленное количество раз повторяют, вышептывают эти слова. Я все больше, все глубже вступаю в их смысл и изнываю от восторга.

Я пытаюсь вздохнуть, но настолько шибко весь я натянута, весь напряжен, что, потянув в себя воздух глубже — вдыхаю и выдыхаю его коротенькими рывками. Я хочу снять с ручки кресла порошок и понюхать, но хотя я натуживаю всю силу воли и приказываю рукам двигаться быстро, руки не слушаются, движутся туго, медленно, в какой-то пугливой окаменелости сдерживаемые боязнью разбить, рассыпать, опрокинуть.

Уже долго я сижу, с ногой на ногу, слегка на одном боку. И нога и бок, на которых я сижу всей тяжестью, устали, мурашечно затекли, желают смены. Я натуживаю свою волю, хочу сдвинуться, повернуться, сесть иначе,

сесть на другой бок, но тело пугливо, мерзло, сковано, словно и ему достаточно только сдвинуться и все загрохочет, упадет. Желание разорвать, нарушить эту пугливую окаменелость, и одновременная неспособность это сделать рождает во мне раздражение. Но и раздражение это безмолвное, глубоко внутреннее, ничем не разрядимое и потому все растущее.

— А Вадим-то наш уже совсем занюхан. — Это говорит Мик. Потом проходит какой-то промежуток времени, в течение которого, я знаю, все на меня смотрят. Я сижу окаменело, не поворачивая головы. В шее у меня все то же чувство: если поверну голову, так опрокину комнату. — И вовсе он не занюхан. Просто у него реакция и ему надо дать скорей понюшку. — Это говорит Нелли.

Мик приближается. Я слышу, как над моим ухом он разворачивает порошок, но я не смотрю туда. Я отворачиваю, опускаю глаза, делаю все — только бы он их не видел. Я боюсь показать свои глаза. Это новое чувство. В этой боязни показать глаза не стыдливость, не застенчивость, нет, — это боязнь унижения, позора и еще чего-то совсем ужасного, что в них сейчас открыто. Я чувствую зубочистку у ноздри и тяну. Потом еще раз.

Я хочу сказать спасибо, но голос застрял. — Благодарю вас, — говорю я, наконец, но до того, как сказать эти слова, крепко кашляю, кашлем достаю голос. Но это не мой голос. Это что-то глухое, радостно трудное, сквозь сжатые зубы.

Мик все еще стоит подле. — Быть может, вам что-нибудь надо, — спрашивает он. Я киваю головой, чувствую, что движения уже легче, развязаннее. Глухого раздражения уже нет, есть свежий налет радости.

Мик берет меня за руку, я встаю, иду. Сперва это немного трудно. В ногах у меня боязнь поскользнуться, опрокинуться, как у очень изыбшего человека, ступившего на скользкий лед. В коридоре меня сразу шибко зазнобило.

По дороге в уборную в коридоре сильный запах капусты и еще чего-то съедобного. При воспоминании о еде я испытываю отвращение, но отвращение это особое. Меня воротит от еды, не от сытости, а от душевной потрясенности. Мое горло кажется мне таким стянутым и нежным, что даже маленький кусок пищи должен застрять в нем или порвать его.

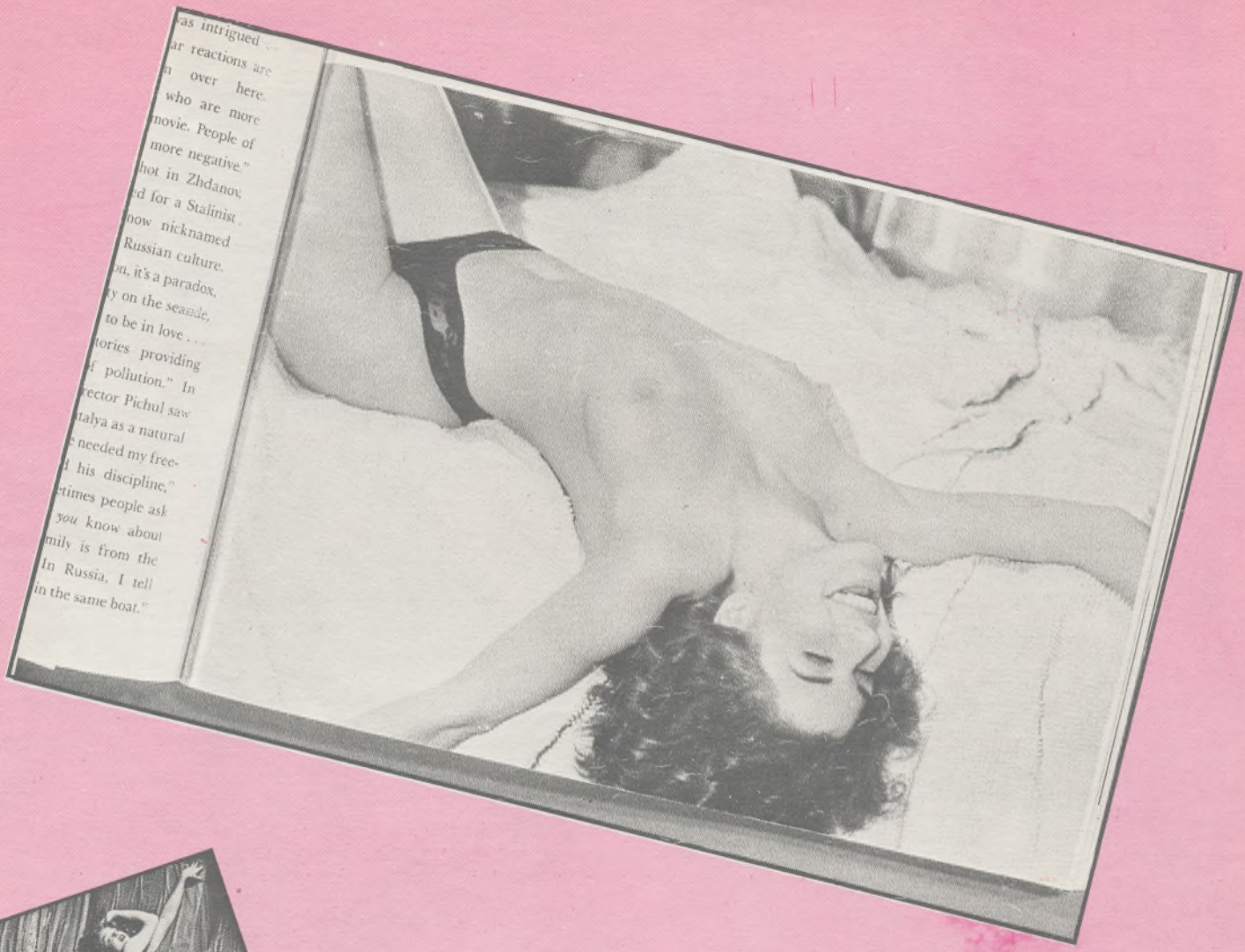
На пианино у Мика стоит стакан воды. — Выпейте, — говорит он тоже сквозь зубы и тоже прячет глаза, — будет еще лучше. Я натуживаюсь, я хочу быстроты, но рука моя медленно-медленно и как-то пугливо округло тянется к стакану. Язык и небо так черствы и сухи, что вода совсем их не мочит, только холодит. В момент глотка я и к воде чувствую отвращение, пью, как лекарство. — Самое лучшее, это черный кофе, говорит Мик, — но его нет. Курите, это тоже хорошо. — Я закуриваю.

Каждый раз, когда я подношу папиросу к губам, я ловлю свои губы в беспрестанном, сосущем движении. Им, этим сосущим движением, выбрасывается переносимый излишек моего наслаждения. Я знаю, что при необходимости мог бы сдержаться, но это было бы так же неестественно, как во время быстрого бега держать руки по швам.

От воды ли, от папиросы, или от новых понюшек уже кончающегося кокаина, но я чувствую, что мое боязливое, оледенелое и расшатаннодвигающееся, как бы чего не опрокинуть и не повалить, тело, — что изыбшие ноги, нащупывающие пол словно по льду, — что все мое странное, похожее на болезнь, состояние, — что все это тоже жалкая оболочка, в которую влито тихо буйствующее ликование.

(Окончание следует)

was intrigued
 ar reactions are
 n over here.
 who are more
 movie. People of
 more negative."
 hot in Zhdanov
 ed for a Stalinist
 now nicknamed
 Russian culture.
 on, it's a paradox,
 y on the seaside,
 to be in love...
 stories providing
 of pollution." In
 rector Pichul saw
 atalya as a natural
 e needed my free-
 d his discipline."
 etimes people ask
 you know about
 mily is from the
 In Russia, I tell
 in the same boat."



**МЭРИЛИН И «GLASNOST-GIRL» НАТАЛЬЯ.
 ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ.**



50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,

